

The background of the entire cover is a photograph of a lighthouse situated on a dark, rocky island. The lighthouse is illuminated from within, casting a warm glow. The sky is a deep, dark blue with wispy white clouds. The foreground shows the rough, dark rocks of the island, with some white foam from the sea washing onto the shore.

ГОВАРД ФИЛЛИПС  
ЛАВКРАФТ

*Зов Ктулху*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Говард Лавкрафт

**Зов Ктулху**

«Азбука-Аттикус»

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

**Лавкрафт Г. Ф.**

Зов Ктулху / Г. Ф. Лавкрафт — «Азбука-Аттикус», — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-24626-3

Три знаменитые повести мастера литературы ужасов – автора, не опубликовавшего при жизни ни одной книги, но ставшего маяком и ориентиром целого жанра, кумиром широких читательских масс и рафинированных интеллектуалов наподобие самого Борхеса...

УДК 821.111-31(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-24626-3

© Лавкрафт Г. Ф.

© Азбука-Аттикус

## Содержание

Храм Гекаты	6
Зов Ктулху	13
I	13
II	18
Шепчущий из тьмы	33
Конец ознакомительного фрагмента.	40

# Говард Филлипс Лавкрафт

## Зов Ктулху

Howard Phillips  
LOVECRAFT

1890–1937

Перевод с английского Олега Алякринского, Людмилы Бриловой, Светланы Лихачевой



© Л. Ю. Брилова, перевод, 2023

© О. А. Алякринский, перевод, 2023

© С. Б. Лихачева, перевод, 2023

© А. М. Зверев (наследники), статья, 2023

© В. Н. Дорогокупля, примечания, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®



## Храм Гекаты

Метаморфоза, которая произошла с Лавкрафтом, по сей день выглядит загадочной.

Как писатель он оставался при жизни почти неизвестен. Не опубликовал ни одной книги. Печатался мало и почти всегда в изданиях, едва сводивших концы с концами. Не был упомянут ни в биографических справочниках, ни в библиографиях, где находилась строка для всех сколько-нибудь известных литераторов.

Лавкрафт не кривил душой, не лукавил, называя себя абсолютным неудачником. В жизни это и правда был ипохондрик, у которого все валилось из рук, существо явно болезненное, подверженное беспричинной подавленности и приступам отвращения к обыденности. Лавкрафт был готов первым признать, что он «решительно не в состоянии чем-то заниматься систематически, а уж делами тем более». Из «Ивнинг ньюс», где у него появились постоянные читатели и даже почитатели, он без всякого повода ушел, хотя больше публиковаться было негде. Затеял собственную газету под характерным для него заглавием «Консерватор», в апреле 1915 года выпустил первый номер, но уже через два месяца со всей этой затеей было покончено – тоже без видимых оснований. Увлёкся историей родного города, родного штата – самого маленького в Америке, – изучил Провиденс улицу за улицей и дом за домом, но охладел и к этому увлечению. Может быть, Лавкрафта обидело, что он, внесший реальную лепту в краеведение, не попал в энциклопедию, перечислявшую всех знаменитых уроженцев и жителей Род-Айленда. Как были бы изумлены и он сам, и его весьма немногочисленные читатели, узнав, что со временем появится целая армия поклонников, называющих Лавкрафта в числе величайших американских писателей. Что его начнут сравнивать с Эдгаром По и Амброзом Бирсом, что одним из самых ярких художников нашего века назовет его не кто иной, как изысканный французский романист и кинорежиссер Жан Кокто, что появятся бесчисленные диссертации, эссе, монографии. Даже пьеса, посвященная его жизни.

Однако все это придет с запозданием, лишь лет через двадцать после смерти Лавкрафта. Его биограф Л. Спрэг де Камп приводит выразительные свидетельства, по которым можно представить, как страдал Лавкрафт из-за того, что оставался далек от литературных кругов своего времени, уж не говоря об известности, о признании. Известность в лучшем случае ограничивалась пределами города Провиденс в штате Род-Айленд, родного города Лавкрафта. О признании ему не приходилось и мечтать.

В Провиденсе Лавкрафт почти безвыездно жил с детства до старости, хотя какая старость! – он умер всего сорока семи лет от роду. Говарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937) досталась дурная наследственность. Когда он был совсем ребенком, отца поместили в лечебницу для душевнобольных, откуда тот не вышел. Мать что ни месяц оказывалась на грани нервного срыва. Странности поведения, замечавшиеся за будущим писателем с юности, вроде бы совсем просто объяснить. Но далеко не всегда напрашивающиеся объяснения самые достоверные.

Лавкрафт и вправду был необычным мальчиком, может быть не вполне здоровым. Например, его изводили ночные кошмары. Они были такими мучительными, что даже пришлось забрать его из школы-интерната: соседи по дортуару жаловались, что от припадков и выкриков Лавкрафта у них бессонница.

Впоследствии критики, писавшие о его прозе, без конца уподобляли типичные для нее сюжеты видениям, возникающим в полудреме, когда кипит и не может успокоиться воспаленный мозг. Это уподобление сделалось общим местом, а между тем оно только вносит путаницу, ничего не проясняя. Лавкрафт был прозаиком, который унаследовал давнюю и стойкую литературную традицию, изучив ее досконально. Он использовал метафоры и фабульные ходы, имеющие многовековую историю, причем не только в английской и американской литературе.

Лишь по неискушенности или наивности можно предположить, будто свои необыкновенные, таинственные рассказы Лавкрафт сочинял, просто припоминая, а потом записывая пригрезившееся ему в мучительные ночи, когда удается забыться на каких-нибудь полтора часа.

Чуждачествам, всегда отличавшим Лавкрафта, его критики вообще были склонны придавать чрезмерное значение. То почти откровенно, то намеками они давали понять, что многое в его сочинениях свидетельствует о психическом расстройстве или, во всяком случае, о душевной неуравновешенности, а без нее не было бы и вдохновения. Или оно выразилось бы совсем в других формах.

Все это довольно сомнительно. Попытки толковать хорошую литературу, распознавая в ней главным образом жизненный опыт и черты личности автора, почти никогда не приносят убедительного результата: выясняется, что в ней есть и что-то другое, причем намного более существенное. Так произошло и с произведениями Лавкрафта. Они не до конца вписываются в биографическую канву, а то и вовсе кажутся с ней не связанными, рожденными чистой фантазией.

Меж тем их старались впрямую соотнести с жизненными обстоятельствами Лавкрафта, с его человеческими особенностями. И тут же обнаруживали удивительные противоречия. Он, так часто писавший о вурдалаках, оборотнях, каннибальных пирах и прочих ужасах, оказывается, был человеком далеко не храброго десятка: есть свидетельства, что при виде полной мышеловки его передергивало и он велел выбрасывать ее на помойку вместе с мышами. Мог и в письмах, и в прозе бравировать своим отвращением к «двуногому животному», этому «чудовищному и ненавистному отребью», но отличался необыкновенной чувствительностью и самой неподдельной добротой. Подвергал своих героев невероятно суровым испытаниям, но сам, смолodu обладая хрупким здоровьем, страшился малейшей физической опасности, легко поддавался депрессии, смертельно тосковал холодными зимними ночами.

И так далее.

\* \* \*

У деда была домашняя библиотека на две тысячи томов, пожалуй самая богатая на весь город. Мальчиком Лавкрафт проводил в заставленном стеллажами кабинете долгие часы, обложившись старинными фолиантами так его интриговавшей колониальной эпохи и скромными книжками в сером бумажном переплете, которые выпускало издательство «Таухниц». Из этих книжек можно было составить исчерпывающе полную библиотеку современной литературы на английском языке.

Однажды за чтением такого томика его застала мать, просмотрела несколько страниц и, охваченная паникой, швырнула книжку в камин. Это был Уэллс, «Остров доктора Моро». Постоянно взвинченная, истеричная, миссис Лавкрафт сочла, что такое чтение скверно скажется на ее семилетнем сыне, которому и так уже приходится давать снотворное.

Она не знала, что мальчик пробует сочинять сам. Пишет стихи. И пытается писать рассказы – как раз в духе Уэллса: распаляя воображение, придумывая несуществующие миры.

Жаль, что ничего из этих писаний не сохранилось и судить о них можно лишь по снисходительным упоминаниям в письмах, где Лавкрафт вспоминает свое детство. Теперь, когда установился настоящий культ Лавкрафта, его рассказы, писавшиеся печатными буквами, неуверенно выводимыми на листе, непременно были бы опубликованы. И что бы они собою ни представляли, сделалось бы несомненным, до какой степени органичной была для него поэтика тайн и ужасов, впрямую или исподволь проступающая во всех его произведениях, не исключая и детские – насколько можно составить о них представление по авторским скупым и лаконичным пересказам.

С отроческих лет его привычным состоянием было одиночество. Люди, считавшие себя его друзьями, на самом деле знали о нем очень мало: Лавкрафт тщательно оберегал от постоянного вмешательства свой внутренний – творческий – мир. Но изоляцией от окружающих,

видимо, очень тяготился и пробовал наладить контакты, прибегая к самому подходящему, по его представлениям, способу – к письмам. Их сохранилось невероятное количество: свыше ста тысяч. Есть огромные циклы, складывавшиеся на протяжении десятилетий. Есть несколько постоянных адресатов, появившихся еще в те годы, когда газетная работа расширила круг знакомств. Но не то что полной, а хотя бы спонтанно пробивающейся откровенности нет даже в переписке с самыми давними приятелями. Несколько раз Лавкрафт называет себя затворником, слабо представляющим себе, какое тысячелетие на дворе.

Можно спорить о том, до какой степени его творчество продолжает традиции романтизма и насыщено отголосками этой художественной культуры, но в своем повседневном поведении Лавкрафт был типичный романтик. Причем такой, для которого романтические понятия должны непременно выражаться в самоочевидных, даже в крайних формах.

Романтик не способен ужиться со своим веком, его пленяет мечта освободиться от давящего времени, ради этого он готов пойти наперекор всем общепринятым, само собой разумеющимся обстоятельствам и условиям эпохи. Не так ли и Лавкрафт? Он придумал для себя позу англомана и монархиста, выдерживая ее неуклонно. Пресерьезно рассуждал о губительных последствиях революции 1776 года, отделившей заокеанские колонии от метрополии. Многие свои письма заканчивал традиционным «Боже, храни короля!» – подразумевался Георг III, правивший Британией, когда в Новом Свете начались беспорядки (Лавкрафта ничуть не смущало, что этот венценосец впал в безумие и страной еще при его жизни стал управлять принц-регент, беспощадно осмеянный Байроном). В этих письмах старательно имитировалась стилистика английских прозаиков, писавших полутора столетиями ранее. И воспроизводились особенности правописания, давно устаревшие.

Когда началась Первая мировая война, Лавкрафт забросал президента Вудро Вильсона требованиями безотлагательно выступить на стороне Антанты. А затем ошеломил Провиденс, опубликовав свой проект воссоединения США и Великобритании. Разумеется, под скипетром английского монарха.

Чудачеством выглядели и некоторые высказывания Лавкрафта, касавшиеся тогдашней злобы дня. Он все-таки был не настолько погружен в создаваемые им вымыслы, чтобы совсем уж не замечать происходившего в мире, и не утаивал собственных мнений о политических событиях – своеобразных мнений, чтобы не сказать больше. Был среди его современников английский литератор Хаустон Стюарт Чемберлен, потомок адмиралов и родственник знаменитого премьер-министра. Этот Чемберлен смолodu начался Ницше, поняв его крайне поверхностно и пропитавшись германофилией, которая у него приняла примитивные, отталкивающие проявления, сделавшись неотличимой от расизма. Он даже сменил язык и по-немецки написал гигантских размеров том «Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts», книгу, пропагандирующую арийский миф, который сводится к безоглядному и безответственному прославлению тевтонов, этих «голубоглазых, светлородых воинов», высших представителей человечества.

Лавкрафт проштудировал «фундаментальные понятия девятнадцатого столетия» еще подростком, и Чемберлен надолго остался для него выдающимся мыслителем, чуть ли не пророком. Правда, в его рассказах привычна фигура неустрашимого поборника истины и справедливости среди напастей, которые на него обрушивает судьба, испытывая мужество героя. Однако этот персонаж скорее дань традициям жанра, чем знак зачарованности трескучей риторикой, вещающей о вековечном «арийском превосходстве».

Тем не менее полностью уберечься от ее злой магии Лавкрафту не удалось. Супермен с наружностью викинга и повадками нордического героя навязчиво мелькает на его страницах. А в письмах Лавкрафт порою начинает напоминать старую деву из клуба «Дочерей американской революции»: подобно этим меднолобым патриоткам, придумывает драконовские меры по ограничению потока иммигрантов, советует правительству держать в узде этнические мень-



шинства. Он дожил до тех дней, когда в Германии начали осуществлять куда более радикальные шаги по направлению к тем же конечным целям. И, оценив эффективность этих начинаний, содрогнулся. Зазвучали ноты покаяния.

К этому времени Лавкрафт считал себя социалистом либеральной ориентации и безоговорочно поддерживал Рузвельта, оставив увлечения молодости, грозившие увести его совсем в другую сторону. На его творчестве эта перемена, впрочем, практически не сказалась, как не затронула его и развившаяся под конец жизни вера в беспредельное могущество науки: всем сомневающимся Лавкрафт старательно доказывал, что он убежденный материалист. Это было не очень понятно читателям, помнившим его большую статью-манифест «Сверхъестественный ужас в литературе»: там Лавкрафт с сожалением, а то и с насмешкой говорит о прозаиках, портивших свои произведения тем, что на последней странице все загадочное получало плоское, примитивно логичное и рациональное объяснение. Сам он таких ошибок не допускал никогда. И какой бы энтузиазм ни внушали ему триумфы новейшей физики или биологии, он все-таки непременно согласился бы с Гамлетом: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».

В литературе XX столетия Лавкрафт как раз и явился художником, обладавшим особенно развитой способностью напоминать о неснившемся мудрецам и доказывать, что неснившееся – реально. Хотя бы как психологический факт.

\* \* \*

Поэтику, которой принадлежит и все созданное самим Лавкрафтом, он подробно описал в статье, воссоздающей – с исчерпывающей полнотой – историю разнообразных жанров, которые доносят восприятие жизни как мистики и ужаса. Это очень пространная история, Лавкрафт начинает ее с мифологических времен, с древнейших сказаний, сохраненных народной памятью. И доводит до современности. До 1925 года, когда по предложению своего издателя У. Пола Кука, выпускавшего тощий журнальчик «Реклюз» («Затворник»), он написал эссе «Сверхъестественный ужас в литературе».

Лавкрафт защищает престиж литературы, заполненной эмоциями и образами, для которых чуть расплывчатое определение «сверхъестественный ужас» все-таки остается наиболее точным. Тогда, в середине 20-х годов, ее престиж еще приходилось отстаивать. По крайней мере в Америке, пусть там и существовала традиция, обозначенная именами самого первого ряда: По, Готорн, Бирс, Генри Джеймс. Но их знали и ценили лишь истинные любители, которых было совсем немного. А нескончаемые поделки – беллетристические, кинематографические – не только заставляли усомниться в том, что истории с призраками и вурдалаками имеют какое-то отношение к искусству. В глазах большинства они делали несомненным, что от настоящего искусства эти истории так же далеки, как ограненная стекляшка от перстня с аметистом.

Такого рода предвзятость сопутствовала литературе, пропитанной «сверхъестественным ужасом», с самого момента ее зарождения. Литературный триумф Горация Уолпола и Анны Радклиф, творцов «готического романа», в конце XVIII века покорившего весь читающий мир, не переменял ситуацию: считалось, что это просто исключение из правила, нетипичный случай, когда удалось преодолеть низкопробный материал. И вообще считалось, что эти повести, где чуть не на каждой странице то оживший покойник, то заговоривший портрет, то вампир в облике гигантской летучей мыши, – сплошная выдумка с целью пощекотать нервы не очень разборчивой публики.

Мистическое обязательно пробуждает страх, который не синоним малодушия. Скорее это чувство соприродно трепету, вызываемому прикосновением к чему-то грозному, загадочному и величественному, что реально существует в мире. Оно открывается человеку только в миг озарений и потрясений, когда он осознает, до чего самонадеянными были его верования, основанные на иллюзии власти над объясненной и укрощенной природой. Такие мгновения и составляют истинный сюжет большинства историй, рассказанных Лавкрафтом.

\* \* \*

В них пленяет богатство выдумки, неожиданное разворачивание фабулы, смелость фантазии, уносящей бесконечно далеко от круга обыденности, в царство «Других богов», как озаглавлен один из его самых известных рассказов. Но Лавкрафт едва ли согласился бы с тем, что сочиненное им только фантазия. Для него важнее всего остального было воссоздать момент прорыва к высшим истинам, которые таятся за «темной, непроницаемой завесой». Тогда что-то неоспоримо достоверное обнаруживалось в любой фантазии. И, лишь пробудив у читателя ощущение этой достоверности, Лавкрафт считал свою цель достигнутой.

В этом отношении он наследник лучших мастеров жанра, и прежде всего Эдгара По, своего главного учителя. Напряженная, словно бы зримо ступающая, атмосфера повествования, когда невероятное воспринимается как реально происходящее и уже не различить грань между видимым, домысленным и только пригрезившимся, – этот эффект, достигнутый на наиболее удавшихся страницах Лавкрафта, сразу заставляет вспомнить «Падение дома Ашеров», «Лигейю» и т. п.

В те годы, на которые приходится пик творческой активности Лавкрафта, По был открыт вторично, прочитан в совершенно новом контексте: не только как корифей «фантастического реализма» (характеристика Достоевского), но как писатель, умевший за оболочкой повседневности распознать прямое и непосредственное действие иррациональных сил во всем их могуществе. Так читали По сюрреалисты, школа, с которой у Лавкрафта много точек соприкосновения, пусть для американского писателя она оставалась в общем и целом чужой.

Сюрреализм родствен Лавкрафту не столько своей поэтикой, требующей постоянного соприкосновения смыслов, которые вступают в конфликт друг с другом, чтобы очистить предмет от шелухи приросших к нему ассоциаций и высветить потаенное истинное содержание. Этим занималась, и порой успешно, поэзия сюрреализма, но попытки воплотить ту же эстетическую установку в повествовательных формах наталкивались на слишком сильное противодействие законов, обязательных для прозы. Тем не менее писались и сюрреалистические романы, а в них наиболее созвучно Лавкрафту было стремление убедить, что невероятное на самом деле реальнее, чем любая житейская самоочевидность, и что мы обитаем в универсуме, относительно которого у нас очень расплывчатые, приблизительные представления. Нам только кажется, что мы знаем о нем все, а на поверку это мистический универсум. В нем действуют могучие энергии и свершаются грандиозные события, о которых не догадаться, оставаясь в плену трафаретных мыслей и наивных рационалистических выкладок. В нем есть потаенные всевластные силы, которые выглядят фантастическими, но совершенно реальны для тех, кто проник в храм Гекаты.

Реальность таких сил никогда не ставилась под сомнение писателями, которые сделали литературу «сверхъестественного ужаса» значительным художественным фактом. Внешне неправдоподобное они воспринимали как обладающее собственной безусловной достоверностью. Это обязательное условие, даже если воссоздаваемая история кажется совсем уж невозможной. Как, например, знаменитая история Дракулы. С тех пор как столетие назад ничем прежде не прославившийся английский литератор Брэм Стокер опубликовал одноименный роман, сразу ставший сенсацией, о Дракуле написаны тысячи страниц и отсняты километры киноплёнки, запечатлевшей его кошмарные деяния. Стокер облек свой рассказ в форму путевых записок непосредственного свидетеля событий, от которых стынет кровь в жилах. Никто, конечно, не заподозрил, что тут больше чем простая литературная условность. О том, что карпатский вампир, возможно, не совсем уж выдумка, заговорили только в наши дни, хотя Стокер считал подобное предположение вполне допустимым.

Оно стало подтверждаться, когда несколько лет назад объявился отдаленный потомок графа Влада Дрякули, валахского господаря, действительно жившего в XV веке. Миллионер из Монте-Карло решил вступить за честь пращура, и по его заказу была снята картина «Исто-

рия Дракулы», в которой предок изображен безупречным рыцарем, а также неистовым патриотом, наводившим ужас на янычаров. И только кое-какие исторически подтвержденные мелочи портили эту версию. Оказалось, что господарь, страшный во гневе, имел обыкновение сажать врагов живьем на кол и устраивать царственные пиры под их предсмертные стоны. Крестьяне не сомневались, что в кубках вовсе не вино.

Стокер ничего этого не знал, но, следуя требованиям жанра, неукоснительно изображал легендарное как реально бывшее, вот почему его книга стала такой же классикой, как мистические новеллы По или история раздвоения личности, воссозданная Стивенсоном в «Докторе Джекиле и мистере Хайде». Лавкрафт следовал тому же правилу с первых своих опытов в сфере таинственного и пугающего, с «Дагона», появившегося в октябре 1923 года на страницах популярного альманаха «Странные истории» и оставшегося чуть ли не единственным его прижизненным успехом. На самом деле некоторые важные для Лавкрафта – и впоследствии сделавшиеся знаменитыми – истории, например «Безымянный город», сочинены им раньше. Но их не заметили. Они печатались в малотиражных изданиях, а то и просто остались в ящике письменного стола, откуда были извлечены, когда душеприказчики приступили к подготовке посмертно вышедших книг, которые принесли их автору настоящую славу. Две из них пользуются особой известностью: сборник 1939 года «Аутсайдер» и «Обретающийся во тьме» (1951), книга, наиболее ценимая теми, кто воспринимает Лавкрафта преимущественно как писателя с глубокими философскими интересами.

Для подобного восприятия есть веские резоны. Лавкрафт притяжал не меньше чем на построение собственной мифологии. Он придумал сакральные книги, будто бы восходящие к седой древности и повествующие о незапамятных временах на Земле, изобрел требующие дешифровки манускрипты, по которым можно восстановить истоки цивилизации и множество легенд, окутывавших ее раннюю историю.

Он ссылался на утраченные или никогда не существовавшие античные тексты, которые, как астрологическая поэма римского автора Манилия, жившего в I веке н. э., якобы помогли ему реконструировать звенья исторического процесса, теряющиеся во мгле тысячелетий.

Он описывал руины некогда цветущих городов посреди арабских пустынь и среди канувшей в небытие культуры. Пытаясь искусно ее стилизовать, вводил в рассказ красочные реалии, необыкновенные ритуалы, редкостно выразительные подробности. Картина начинала восприниматься не как плод воображения, а чуть ли не как зарисовка с натуры.

Как творец мифологических хроник, Лавкрафт вызывает в памяти ассоциации с двумя выдающимися английскими писателями, своими современниками: Толкиеном и Клайвом Льюисом. У них и правда много общего, но есть фундаментальное различие, затрагивающее не столько эстетику, сколько область идей, становящихся у таких писателей началом, организующим весь их творческий мир. Тут не приходится ждать ни разнообразия характеров, ни тонкой нюансировки психологического рисунка. Перед нами литература, в которой главенствует мысль, нередко проступающая резко, рельефно, словно прутья арматуры.

Мысль, придающая единство творчеству Лавкрафта, о чем бы он ни писал и к каким бы формам ни обращался, всегда сопрягается с обостренным ощущением грозящих человечеству мистических сил. Они остались в мире напоминанием о стародавних временах, когда такие силы были всемогущими. Неизменно разрушительные, страшные силы, они незримы и неподконтрольны разуму. Благоденствие возможно лишь оттого, что люди не отдают себе отчета в опасности, висящей над ними всегда: избегают «мрачных морей бесконечности» или поворачивают назад, едва оттолкнувшись от берега. Но если бы человеку открылась истинная мера его беспомощности перед этими силами, если бы он понял истинную цену накопленных им бессвязных знаний, которые на самом деле не предоставляют надежной защиты от хаоса, он бы обезумел от ужаса, и на планете снова наступила бы эпоха самого мрачного беспамятства.

Того, которое в «Видении» Тютчева сопрягается с образами всемирного молчания, густеющей ночи, Атласа, давящего сушу...

Внимательным русским читателям Лавкрафта Тютчев, наверное, будет вспоминаться постоянно. Дело не в масштабах дарований, а в их родственности. Ведь и Лавкрафт, подобно нашему гениальному лирику, упорно размышлял о хаосе и Космосе как понятиях-близнецах, сколь они ни антагонистичны друг другу, и постоянно возвращался к метафоре ночи, когда «звучными волнами стихия бьет о берег свой», и бесстрашно стремился к могущественным, неукротимым первоначалам жизни. «Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами», – можно ли выразить точнее, чем этими тютчевскими строками, доминирующий мотив Лавкрафта?

Он тоже воспринимал универсум как грозную стихию, а человека – как путника в океане, со всех сторон окруженного пылающей бездной. И в эту бездну он, используя приемы и ходы, выработанные готической традицией, стремился проникнуть, не страшась предстоящих открытий, не останавливаясь перед «сверхъестественным ужасом», который определяет атмосферу его произведений. Вступая в храм Гекаты, Лавкрафт мечтал о постижении высших тайн человеческого существования. Вот что побуждало его погружаться в легендарную историю, отправляясь в бесконечно увлекательные странствия по мифологическим странам и временам, куда мы последуем за ним, впервые получив возможность по-настоящему познакомиться с этим необыкновенным американским писателем.

*Алексей Зверев*

## Зов Ктулху (Обнаружено в бумагах покойного Френсиса Виланда Терстона, г. Бостон)

*Можно предположить, что из этих великих стихий или существ  
иные выжили... выжили со времен бесконечно отдаленных, когда...  
сознание, вероятно, проявляло себя в обличьях и формах, давным-давно  
отступивших пред натиском человеческой цивилизации... мимолетное  
воспоминание об этих формах сохранили лишь легенды да поэзия,  
нарекшие их богами, чудовищами, мифическими существами всех родов  
и видов...*

*Элджернон Блэквуд*

### I Глиняный ужас

По мне, неспособность человеческого разума соотнести между собою все, что только вмещает в себя наш мир, – это великая милость. Мы живем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности, и дальние плаванья нам заказаны. Науки, трудясь каждая в своем направлении, до сих пор особого вреда нам не причиняли. Но в один прекрасный день разобщенные познания будут сведены воедино, и перед нами откроются такие ужасающие горизонты реальности, равно как и наше собственное страшное положение, что мы либо сойдем с ума от этого откровения, либо бежим от смертоносного света в мир и покой нового темного средневековья.

Теософы уже предугадали устрашающее величие космического цикла, в пределах которого и наш мир, и весь род человеческий – не более чем преходящая случайность. Они намекают на странных пришельцев из тьмы веков – в выражениях, от которых кровь бы застыла в жилах, когда бы не личина утешительного оптимизма. Но не от них явился тот один-единственный отблеск запретных эпох, что леденит мне кровь наяву и сводит с ума во сне. Это мимолетное впечатление, как и все страшные намеки на правду, родилось из случайной комбинации разрозненных фрагментов – в данном случае вырезки из старой газеты и записей покойного профессора. Надеюсь, никому больше не придет в голову их сопоставить; сам я, если останусь жив, ни за что не стану сознательно восполнять звенья в столь чудовищной цепи. Думается мне, что и профессор тоже намеревался сохранить в тайне известную ему часть и непременно уничтожил бы свои заметки, если бы не внезапная смерть.

Впервые я ознакомился с ними зимой 1926/27 года: именно тогда умер мой двоюродный дед Джордж Гаммелл Эйнджелл, почетный профессор семитских языков в Брауновском университете города Провиденс, штат Род-Айленд. Профессор Эйнджелл был широко известен как видный специалист по древним надписям, к нему то и дело обращались директора крупных музеев, так что его кончина в возрасте девяноста двух лет вызвала изрядный резонанс. В местном масштабе интерес подогревался еще и тем, что причина смерти осталась невыясненной. Профессор возвращался из Ньюпорта: он сошел с корабля – и, по словам свидетелей, рухнул как подкошенный после того, как его толкнул какой-то негр, с виду моряк, что неожиданно-негаданно вынырнул из странноватого темного двора на холме, по крутому склону которого пролегал кратчайший путь от порта до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не обнаружили зримых признаков какого бы то ни было расстройства и, посоветовавшись немного в замеша-

тельстве, заключили, что причиной трагедии послужило некое скрытое нарушение сердечной деятельности, спровоцированное быстрым подъемом в гору – в профессорские-то преклонные годы! В ту пору я не видел повода ставить диагноз под сомнение, но в последнее время я склонен задуматься на этот счет... очень серьезно задуматься.

Как наследнику и душеприказчику моего двоюродного деда – ибо он умер бездетным вдовцом – мне полагалось сколь возможно тщательно просмотреть его архивы; с этой целью я перевез все его коробки и папки на свою бостонскую квартиру. Большую часть разобранных мною материалов со временем опубликует Американское археологическое общество, однако ж среди ящиков нашелся один, изрядно меня озадачивший: вот его-то мне особенно не хотелось показывать чужим. Ящик был заперт, ключа нигде не оказалось, но в конце концов я догадался осмотреть брелок, что профессор всегда носил в кармане. И действительно: открыть замок мне удалось, но тут передо мною воздвиглось препятствие еще более серьезное и непреодолимое. Что, ради всего святого, означали странный глиняный барельеф и разрозненные записи, наброски и газетные вырезки, мною обнаруженные? Или дед мой, на закате дней своих, стал жертвой самого банального надувательства? Я решил непременно разыскать эксцентричного скульптора, по всей видимости нарушившего душевный покой старика.

Барельеф представлял собою неровный прямоугольник площадью приблизительно пять на шесть дюймов и менее дюйма толщиной, явно современного происхождения. Но изображалось на нем нечто крайне далекое от современности и по духу, и по замыслу, ибо хотя бесчисленны и сумасбродны причуды кубизма и футуризма, нечасто воспроизводят они таинственную упорядоченность, сокрытую в доисторических надписях. А большая часть этих узоров, вне всякого сомнения, представляла собою именно письмена, хотя память моя, невзирая на близкое знакомство с бумагами и коллекциями деда, не сумела ни опознать эту разновидность, ни хотя бы намекнуть на какие-то отдаленные параллели.

Над этими несомненными иероглифами просматривалась фигура – явно изобразительного плана, хотя импрессионистский стиль исполнения не позволял распознать ее природу. Что-то вроде чудища или символ, представляющий чудище, породить которое способна разве что большая фантазия. Я нимало не погрешу против сути этого образа, если скажу, что моему взбалмошному воображению одновременно представились осьминог, дракон и карикатура на человека. Мясистая голова с щупальцами венчала гротескное чешуйчатое тулово с рудиментарными крыльями, но особенно жуткое впечатление производили *общие очертания* всего в целом. На заднем плане смутно проступало некое подобие циклопической кладки.

К этой диковинке помимо подборки газетных вырезок прилагался целый ворох свежих записей, сделанных рукою профессора Эйнджелла и не претендующих на какую бы то ни было литературность. Основной, по всей видимости, документ был озаглавлен «КУЛЬТ КТУЛХУ» – тщательно прорисованными печатными буквами, чтобы предотвратить ошибки в прочтении столь неслыханного слова. Рукопись состояла из двух частей: первая – под рубрикой «1925 – Сон и творчество по мотивам снов Г. Э. Уилкокса, проживающего по адресу: штат Род-Айленд, г. Провиденс, Томас-стрит, д. 7», и вторая – «Рассказ инспектора Джона Р. Лейграсса, проживающего по адресу: штат Луизиана, г. Новый Орлеан, Бьенвиль-стрит, д. 121; 1908 г. – заседание А. А. О. – протокол и доклад проф. Уэбба». Остальные бумаги представляли собою краткие заметки, в некоторых содержалось описание странных снов самых разных людей, тут же попадались выдержки из теософских книг и журналов (в частности, из «Истории Лемурии и Атлантиды» У. Скотт-Эллиота), а также комментарии на тему сохранившихся с давних времен тайных обществ и секретных культов, вместе со ссылками на соответствующие пассажи в таких справочных изданиях по мифологии и антропологии, как «Золотая ветвь» Фрэзера и «Культе ведьм в Западной Европе» за авторством мисс Мюррей. В газетных вырезках речь шла по большей части о странных психических расстройствах и о вспышках группового помешательства или мании весной 1925 года.



В первой части основной рукописи пересказывалась прелюбопытная история. 1 марта 1925 года к профессору Эйнджеллу явился худощавый смуглый юноша вида неврастенического и до крайности возбужденного, с необычным глиняным барельефом, на тот момент еще мягким и влажным. На визитке значилось имя: Генри Энтони Уилкоккс. Дед узнал в нем младшего сына некоего уважаемого семейства, отдаленно ему знакомого. Юноша вот уже некоторое время учился в род-айлендской художественной школе на отделении скульптуры, а жил один, в здании «Флер-де-лис» неподалеку от учебного заведения. Уилкоккс, многообещающий вундеркинд, славился как своим недюжинным талантом, так и изрядной эксцентричностью и с детства удивлял окружающих диковинными историями и пересказами странных снов. Сам он говорил о своей «физической гиперсенситивности», но уважаемые жители старинного торгового города считали его просто-напросто чудаком. С людьми своего круга он никогда особенно не общался, а постепенно и вовсе выпал из светской жизни; теперь его знала разве что небольшая группа эстетов из других городов. Даже насквозь консервативный Провиденский клуб искусств убедился, что юноша безнадежен.

Что до визита, сообщалось в профессорской рукописи, скульптор нежданно-негаданно воззвал к археологическим познаниям хозяина, попросив идентифицировать иероглифы на барельефе. Изъяснялся он в этакой отрешенной, напыщенной манере, что наводило на мысль о позерстве и сочувствия не пробуждало, и дед мой отвечал довольно резко, поскольку очевидная новизна глиняной таблички наводила на мысль о чем угодно, кроме археологии. Ответ молодого Уилкоккса, впечатливший деда настолько, что тот запомнил и записал его дословно, был облечен в причудливо-поэтическую форму, свойственную речи юноши в целом; впоследствии я убедился, что такая манера изъясняться для него и впрямь весьма характерна. «Воистину табличка нова, я создал ее прошлой ночью, грезя о невиданных городах, а сны – древнее, чем угрюмый Тир, или задумчивый Сфинкс, или венчанный садами Вавилон».

Тут-то юноша и повел свой бессвязный рассказ, внезапно разбередив дремлющие воспоминания деда и пробудив в нем лихорадочный интерес. Накануне ночью случилось небольшое землетрясение – самое значительное в Новой Англии за последние несколько лет, и впечатлительный Уилкоккс остро ощутил на себе его влияние. Ночью ему привиделся небывалый сон: великие города Циклопов, сплошь – исполинские глыбы и устремленные в небеса монолиты; все они сочились зеленой слизью и таили в себе неизъяснимый ужас. Стены и колонны были покрыты иероглифами, а откуда-то снизу доносился голос, что и голосом-то не назовешь: хаотическое ощущение, что преобразовать в звук способна лишь фантазия. И тем не менее юноша попытался передать его почти произносимым набором букв: «Ктулху фхтагн».

Эта словесная невнятица и послужила ключом к воспоминанию, что одновременно взволновало и встревожило профессора Эйнджелла. Он расспросил скульптора с дотошностью ученого – и с жадной скрупулезностью изучил барельеф. Если верить Уилкокксу, ночью, проснувшись, как от толчка, потрясенный юноша обнаружил, что работает над пресловутой глиняной табличкой – продрогший, в одной пижаме. Впоследствии Уилкоккс рассказывал, что дед списывал не иначе как на свои преклонные годы тот досадный факт, что не сразу распознал иероглифы и изображение. Многие его вопросы показались гостю в высшей степени неуместными – в особенности те, что намекали на его связь со странными культами или обществами. Уилкоккс в упор не понимал настойчивых обещаний хранить тайну в обмен на допуск и членство в каком-то разветвленном мистическом или языческом религиозном сообществе. Когда же профессор Эйнджелл уверился, что скульптор действительно понятия не имеет ни о каком культе и ни о каком тайном знании, он засыпал гостя просьбами сообщать о своих снах и дальше. Результаты, причем на постоянной основе, не заставили себя ждать. После первой беседы в рукописи отмечались ежедневные визиты юноши, в ходе которых он пересказывал впечатляющие фрагменты ночных видений: в них неизменно фигурировали жуткие виды исполинских городов из темного влажного камня и подземный голос или разум, размеренно

подающий загадочные импульсы смысла, что в записанном виде представляли собою полную тарабарщину. Чаще всего повторялись два звука: если передать их буквосочетаниями, то получалось «Ктулху» и «Р'льех».

23 марта, как гласила рукопись, Уилкоккс не пришел на встречу. Профессор навел справки на квартире скульптора; выяснилось, что юношу поразила некая загадочная болезнь и его увезли в семейный особняк на Уотерман-стрит. Ночью он кричал во сне, перебудив еще несколько художников, проживающих в здании, а с тех пор пребывал либо в беспамятстве, либо в бреде. Дед немедленно позвонил его родственникам и отныне и впредь бдительно следил за развитием событий и то и дело заглаживал в кабинет доктора Тоби на Тайер-стрит, выяснив, что пациента поручили ему. Лихорадочный разум юноши, по всей видимости, одолевали странные видения; пересказывая их, доктор то и дело вздрагивал. В них не только повторялись прежние сны, но в общем сумбуре возникала какая-то исполинская тварь, «во много миль высотой», ковылявшая тяжело и неуклюже. Уилкоккс так и не описал это существо в подробностях, но отрывочные безумные восклицания в пересказе доктора Тоби убедили профессора, что оно, по всей видимости, тождественно безымянному чудовищу, изображенному на скульптуре из сна. Доктор добавил, что, заговорив о глиняном барельефе, юноша неизменно впадал в летаргию. Как ни странно, температура его была немногим выше обычной, но общее состояние наводило на мысль скорее о горячке, нежели о душевном расстройстве.

2 апреля около трех часов пополудни все симптомы недуга разом исчезли. Уилкоккс сел в постели, с превеликим изумлением обнаружив, что находится дома. Он понятия не имел, что происходило с ним начиная с ночи 22 марта, будь то во сне или в действительности. Врач объявил его здоровым; спустя три дня юноша вернулся к себе на квартиру, но профессору Эйнджеллу он больше ничем помочь не мог. С выздоровлением все странные видения прекратились; примерно с неделю дед выслушивал бесполезные, не относящиеся к делу пересказы самых что ни на есть обыкновенных снов, после чего записи вести перестал.

На этом заканчивалась первая часть рукописи, но ссылки на разрозненные заметки дали мне немало материала для размышлений – на самом деле так много, что мое сохранившееся недоверие к художнику объясняется разве что моей тогдашней философией, насквозь пропитанной скептицизмом. В пресловутых заметках описывались сны разных людей в течение того же периода, когда молодого Уилкоккса посещали его странные химеры. Дед очень быстро, по всей видимости, создал разветвленную, обширную сеть наведения справок, охватив едва ли не всех своих друзей, которым мог задавать вопросы, не рискуя показаться дерзким: от них он требовал еженочных отчетов о снах и даты каких-либо примечательных видений за прошедшее время. На подобные просьбы люди, надо думать, реагировали по-разному, и все же при самых скромных подсчетах дед явно получал куда больше ответов, нежели удалось бы обработать без помощи секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, но дедовы заметки представляли собою детальный и весьма показательный обзор. Люди самые что ни на есть обыкновенные, те, что вращаются в светском обществе и в деловых кругах – пресловутая «соль земли» Новой Англии, – результаты представили в большинстве своем отрицательные. Однако ж тут и там фигурировали отдельные случаи тревожных, но бесформенных ночных впечатлений: все они приходились на период между 23 марта и 2 апреля – когда молодой Уилкоккс пребывал в бреде. Ученые оказались чуть более восприимчивы: четыре случая расплывчатых описаний наводят на мысль о мимолетных проблесках странных ландшафтов, и в одном случае упоминается ужас перед чем-то паранормальным.

Ответы по существу дали поэты и художники; я уверен, что будь у них возможность сравнить свои записи, вспыхнула бы настоящая паника. Но поскольку оригиналов писем в моем распоряжении не было, я отчасти заподозрил, что составитель либо задавал наводящие вопросы, либо отредактировал тексты сообразно желаемому результату. Вот почему мне по-прежнему казалось, что Уилкоккс, каким-то образом получив доступ к более ранним сведениям,

которыми располагал мой дед, намеренно ввел маститого ученого в обман. Отклики эстетов складывались в пугающую повесть. С 28 февраля и по 2 апреля многим из них снились странные, причудливые сны, причем их яркость безмерно усилилась в тот период, когда скульптор пребывал в бреду. Примерно одна четвертая из числа тех, кто согласился поведать о своем опыте, сообщали о ландшафтах и отзвуках, очень похожих на описания Уилкокса; а кое-кто из сновидцев признавался, что ближе к концу появлялась гигантская безымянная тварь, внушавшая беспредельный страх. Один из случаев, весьма печальный, рассматривался особенно подробно. Субъект – широко известный архитектор, склонный к теософии и оккультизму, – в день, когда с молодым Уилкоксом приключился приступ, впал в буйное помешательство, неумолчно кричал, умоляя спасти его от какого-то сбежавшего из ада демона, – и несколькими месяцами позже скончался. Если бы дед ссылался на эти случаи, приводя имена, а не просто номера, я бы предпринял независимое расследование в поисках доказательств, но так, как есть, мне удалось установить личность лишь нескольких человек. Однако ж все они дословно подтвердили записи. Я частенько гадаю, все ли опрошенные были столь же озадачены, как эти немногие. Хорошо, что объяснения они так и не получают.

В газетных вырезках, как я уже сообщал, речь шла о вспышках паники, о маниях и психозах в указанный период. Профессор Эйнджелл, должно быть, нанял целое пресс-бюро, потому что количество выдержек было огромно, а источники – разбросаны по всему земному шару. Тут – ночное самоубийство в Лондоне: одинокий жилец с душераздирающим криком выбросился во сне из окна. Там – бессвязное письмо издателю газеты в Южной Америке: какой-то одержимый видениями фанатик предсказывал мрачное будущее. Официальное сообщение из Калифорнии описывало, как целая колония теософов облеклась в белые одежды ради некоего «великого совершенства», которое так и не последовало; в то время как в статьях из Индии сдержанно говорилось о серьезных волнениях в среде местного населения ближе к концу марта. По Гаити прокатилась волна шаманских оргий; африканские аванпосты докладывали о недовольстве и ропоте. Американские офицеры на Филиппинских островах докладывали, что примерно в то же время отдельные племена сделались беспокойны, а в ночь с 22 на 23 марта в Нью-Йорке полицейских атаковала толпа истеричных левантинцев. В западной части Ирландии множились самые дикие слухи и легенды; весной 1926 года художник-фантаст по имени Ардуа-Бонно выставил в Парижском салоне свое кощунственное полотно под названием «Пригрезившийся пейзаж». А в психиатрических больницах отмечалось такое количество беспорядков, что не иначе как чудо помешало медицинской братии отследить странные параллели и прийти к озадачивающим выводам. В общем и целом – жутковатая подборка вырезок; и сегодня я с трудом понимаю свой тогдашний бездушный рационализм, заставивший меня от них отмахнуться. Впрочем, на тот момент я и впрямь был убежден, что молодой Уилкокс знал о событиях более давних, профессором упомянутых.

## II

### История инспектора Лейграсса

События более давние, в связи с которыми сон скульптора и барельеф показались моему деду столь важными, излагались во второй части пространной рукописи. Как выяснилось, в прошлом профессор Эйнджелл уже видел адские очертания безымянного чудовища, и ломал голову над неведомыми иероглифами, и слышал зловещую последовательность звуков, которую можно передать только как «Ктулху». И все это – в таком тревожном и страшном контексте, что не приходится удивляться, если он принялся забрасывать молодого Уилкокса расспросами и настойчиво требовать все новых сведений.

Этот его более ранний опыт датируется 1908 годом, семнадцатью годами раньше. Американское археологическое общество съехалось на ежегодную конференцию в Сент-Луис. Профессор Эйнджелл, как оно и подобает ученому настолько авторитетному и заслуженному, играл значимую роль во всех дискуссиях. Именно к нему в числе первых обратились несколько неспециалистов, что пришли на заседание, дабы получить правильные ответы на свои вопросы и разрешить проблемы силами экспертов.

Главным среди этих неспециалистов был ничем не примечательный человек средних лет, приехавший из самого Нового Орлеана в поисках узкоспециальной информации, которую местные источники предоставить ему не могли. Именно он вскорости оказался в центре внимания всего почтенного собрания. Звали его Джон Реймонд Лейграсс; работал он полицейским инспектором. Он принес с собой то, ради чего приехал: гротескную, омерзительную, по всей видимости очень древнюю каменную статуэтку, происхождение которой определить затруднялся. Нет, инспектор Лейграсс нисколько не интересовался археологией. Напротив, его любопытство было подсказано исключительно профессиональными соображениями. Статуэтку, идол, фетиш, или что бы уж это ни было, захватили несколькими месяцами раньше в заболоченных лесах к югу от Нового Орлеана, в ходе облавы на сборище предполагаемых шаманов-вудуистов. И столь необычные и отвратительные обряды были связаны с этой статуэткой, что полицейские не могли не осознать, что столкнулись с каким-то неведомым темным культом, бесконечно более страшным, нежели самые что ни на есть дьявольские секты африканских колдунов. О происхождении культа ровным счетом ничего не удалось выяснить – если не считать обрывочных и неправдоподобных признаний, исторгнутых у пленников. Поэтому полиция и решила обратиться к ученым, знатокам древности, в надежде с их помощью понять, что собой представляет кошмарный символ и через него выйти к истокам культа.

Инспектор Лейграсс даже представить себе не мог, какую сенсацию произведет его приношение. При одном только взгляде на загадочный предмет собрание ученых мужей разволновалось не на шутку. Окружив гостя плотным кольцом, все так и пожирали глазами фигурку: ее явная чужеродность и аура неизмеримо глубокой древности наводили на мысль о доселе неоткрытых архаичных горизонтах. Художественную школу, породившую эту страшную скульптуру, так и не удалось опознать, однако ж тусклая, зеленоватая поверхность неизвестного камня словно бы хранила в себе летопись веков и даже тысячелетий.

Статуэтка, которую неспешно передавали из рук в руки для ближайшего и внимательного рассмотрения, в высоту была около семи-восьми дюймов и поражала мастерством исполнения. Она изображала чудовище неопределенно антропоидного вида, однако ж с головой как у спрута, с клубком щупалец вместо лица, с чешуйчатым, явно эластичным телом, с гигантскими когтями на задних и передних лапах и длинными, узкими крыльями за спиной. Это существо, по ощущению, исполненное жуткой, противоестественной злобности, обрюзгшее и тучное, восседало в отвратительной позе на прямоугольной глыбе или пьедестале, покрытом непонятными письменами. Концы крыльев касались черного края камня сзади, само сиденье

помещалось в центре, а длинные, изогнутые когти поджатых, скрюченных задних лап цеплялись за передний край и спускались вниз примерно на четверть высоты пьедестала. Моллюскообразная голова выдавалась вперед, так что лицевые щупальца задевали с тыльной стороны громадные передние лапы, обхватившие задранные колени. Все в целом выглядело неправдоподобно живым – и тем более неуловимо пугающим, что происхождение идола оставалось неизвестным. В запредельной, устрашающей, бесконечной древности статуэтки не приходилось сомневаться, и однако ж ничто не указывало на какой-либо известный вид искусства, возникший на заре цивилизации – либо в любую другую эпоху. Перед нами было нечто особое, ни на что не похожее; даже сам материал и тот являл собою неразрешимую загадку: мылообразный, зеленовато-черный камень с золотыми и радужными вкраплениями и прожилками не походил ни на что знакомое из области геологии либо минералогии. Вязь письмен, начертанных вдоль основания постамента, озадачивала не меньше; никто из участников – несмотря на то, что в собрании присутствовала половина мировых экспертов в этой области, – не имел ни малейшего представления о том, с какими языками это наречие хотя бы самым отдаленным образом соотносится. Иероглифы, точно так же, как сама скульптура и ее материал, принадлежали к чему-то устрашающе далекому и чуждому человеческой цивилизации – такой, какой мы ее знаем; к чему-то пугающему, наводящему на мысль о древних и кошунственных циклах жизни, к которым наш мир и наши представления вообще неприложимы.

И однако ж, пока участники конференции по очереди качали головами и признавали свое бессилие перед задачей инспектора, нашелся в собрании один человек, которому померещилось, будто чудовищная фигура и письмена ему до странности знакомы. Он-то и рассказал, смущаясь, о некоей памятной ему странной безделице. То был ныне покойный Уильям Чаннинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета и небезызвестный исследователь. Сорок восемь лет назад профессор Уэбб участвовал в экспедиции по Гренландии и Исландии в поисках рунических надписей, отыскать которые ему так и не удалось. В верхней части побережья Западной Гренландии он обнаружил примечательное племя выродившихся эскимосов (а может, и не племя, а что-то вроде культа). Их религия, любопытная разновидность сатанизма, до глубины души ужаснула профессора своей нарочитой кровожадностью и гнусностью. Об этой вере прочие эскимосы почти ничего не знали, упоминали о ней с содроганием и говорили, что пришла она из бездонных глубин вечности за миллиарды лет до того, как был создан мир. В придачу к отвратительным обрядам и человеческим жертвоприношениям эта религия включала в себя извращенные, переходящие из поколения в поколение ритуалы, посвященные высшему, древнейшему дьяволу, иначе известному как *торнасу*; профессор Уэбб тщательно записал этот термин в транскрипции со слов престарелого жреца-шамана (иначе – *ангекок*), как можно точнее передав звучание латинскими буквами. Но на данный момент интерес представлял фетиш, связанный с пресловутым культом: идол, вокруг которого отплясывали эскимосы, когда высоко над ледяными утесами полыхало северное сияние. То был примитивный каменный барельеф с изображением кошмарного монстра, покрытый загадочными письменами. Насколько профессор мог судить, в основных чертах этот фетиш походил на чудовищную статуэтку, представленную ныне собранию.

Ученые мужи внимали Уэббу настороженно и потрясенно, а инспектор Лейграсс разволновался больше прочих; он в свою очередь принялся засыпать профессора расспросами. Полицейский некогда записал и скопировал устный ритуал со слов арестованных служителей болотного культа и теперь попросил ученого по возможности вспомнить последовательность звуков, зафиксированную среди дьяволопоклонников-эскимосов. Последовало придиричивое, дотошное сличение записей – и в зале повисло благоговейное молчание. Детектив и ученый установили, что фраза, общая для двух адских ритуалов, проводимых в разных концах земного шара, фактически идентична! То, что шаманы-эскимосы и жрецы с луизианских болот выкликали

нараспев, вызывая к своим родственным идолам, по сути представляло собою приблизительно следующее: *«Пх'нглиу мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн»*.

Причем деление слов угадывалось по традиционным паузам во фразе в ходе пения.

Здесь инспектор Лейграсс на шаг опередил профессора Уэбба: несколько его арестантов-метисов сообщили ему со слов старших участников обряда, что означало пресловутое заклинание. А именно: «В своем чертоге в Р'льехе мертвый Ктулху грезит и ждет».

Теперь же, в ответ на общую настоятельную просьбу, инспектор Лейграсс поведал сколько можно более подробно о своем знакомстве со служителями болотного культа и рассказал историю, которой дед, как я понял, придавал огромное значение. В ней ощущался привкус безумных снов мифотворца и теософа и размах воображения воистину космического масштаба – совершенно, казалось бы, неожиданный в среде отверженных полукровок.

1 ноября 1907 года в новоорлеанскую полицию поступил срочный вызов из края озер и болот к югу от города. Тамошние скваттеры, люди по большей части простые, но добродушные, потомки отряда Лафитта, пребывали во власти слепого ужаса – нечто неведомое подкралось к ним в ночи. Магия вуду, по всей видимости, причем самой что ни на есть чудовищной, прежде неизвестной разновидности. С тех пор как в черной чаще заколдованного леса, куда не смел заходить никто из местных жителей, зазвучали неумолчные тамтамы, стали пропадать женщины и дети. Оттуда доносились безумные крики, душераздирающие вопли, пение, от которого кровь стыла в жилах, там плясало адское пламя, и, добавил перепуганный посыльный, люди не в силах больше выносить этого кошмара.

И вот ближе к вечеру отряд из двадцати полицейских в двух каретах и одном автомобиле выехал на место событий. Дрожащий от страха скваттер указывал путь. Со временем проезжая дорога закончилась; все вышли и на протяжении нескольких миль шлепали по грязи в безмолвии жутких кипарисовых лесов, не знающих света дня. Безобразные корни и зловеще нависающие петли «испанского мха» преграждали им путь; тут и там груды влажных камней или фрагмент гниющей стены, наводя на мысль о мрачном обиталище, еще больше усиливали ощущение подавленности, в которое вносили свой вклад каждое уродливое дерево, каждый губчатый островок. Наконец впереди показалось поселение скваттеров – жалкое скопление лачуг. Перепуганные жители выбежали за двери и обступили группу с фонарями тесным кольцом. Где-то далеко впереди и впрямь слышался приглушенный бой тамтамов; время от времени, когда менялся ветер, долетал леденящий душу вопль. Сквозь блеклый подлесок откуда-то из-за бескрайних аллей ночной чащи просачивался красноватый отблеск. Все до одного скваттеры – даже при том, что они панически боялись снова остаться одни, – наотрез отказались приближаться к сцене нечестивой оргии хотя бы на шаг. Так что инспектор Лейграсс и его девятнадцать соратников без проводника нырнули под темные аркады ужаса – туда, где никто из них не бывал прежде.

Область, куда ныне нагрянула полиция, испокон веков пользовалась дурной славой – белые туда не заглядывали и почти ничего о ней не знали. Легенды рассказывали о потаенном озере, которого веками не видел взгляд человеческий; там обитала гигантская, бесформенная белесая полипообразная тварь со светящимися глазами; скваттеры перешептывались, что в полночь-де к ней на поклон из пещер в недрах земли вылетают дьяволы на крыльях летучих мышей. Поговаривали, что тварь эта жила там до д'Ибервиля, до Ла Салы, до индейцев и даже до привычных лесных зверей и птиц. В ней словно ожил ночной кошмар; увидеть чудище означало умереть. Но тварь насылала на людей сны, так что они знали достаточно, чтобы не соваться куда не надо. Нынешняя вудуистская оргия происходила на самой окраине ненавистной области, но и этого было довольно: возможно, поэтому место, выбранное под святилище, внушало скваттерам еще больший ужас, чем кошмарные звуки и происшествя.

Лишь поэт или безумец сумел бы воздать должное звукам, что слышали люди Лейграсса, пробираясь вперед сквозь черную трясину в направлении алого отблеска и приглушенного



рокота тамтамов. Разные тембры голоса присущи человеку и зверю; и страшно слышать одно вместо другого. Животная ярость и разнузданное непотребство здесь нарастали до демонического размаха: завывания и экстатические вопли неистовствовали и эхом прокатывались из конца в конец по ночному лесу, точно чумные бури из пучин ада. То и дело беспорядочное улюлюканье смолкало, и, по всей видимости, вымуштрованный хор хриплых голосов принимался монотонно выпевать эту мерзкую фразу или целое заклинание: «Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн».

Наконец полицейские выбрались из болота туда, где деревья поредели, – и глазам их внезапно открылось жуткое зрелище. Четверо пошатнулись, один рухнул в обморок, двое не сдержали исступленного крика – по счастью, голоса их потонули в безумной какофонии оргии. Лэграсс плеснул водой в лицо потерявшему сознание; все застыли на месте, дрожа крупной дрожью, загипнотизированные ужасом.

На прогалине среди болот обнаружился поросший травой островок, протяженностью примерно в акр, безлесный и относительно сухой. На этом островке скакала и извивалась неопишная орда – скопище человеческих уродств, нарисовать которые не под силу никому, кроме разве Сайма или Ангаролы. Голые, в чем мать родила, эти разношерстные ублюдки ревели, мычали и, корчась, выплясывали вокруг чудовищного кольца огня. Сквозь разрывы в огненной завесе можно было разглядеть, что в центре возвышается гигантский гранитный монолит примерно восьми футов в высоту; а на нем, несообразно-миниатюрная, стоит мерзкая резная статуэтка. На равном расстоянии от окаймленного огнем монолита по широкому кругу были расставлены десять виселиц, и на них висели, головами вниз, чудовищно изуродованные тела злополучных пропавших скваттеров. Внутри этого круга и бесновались с ревом служители культа, в массе своей двигаясь слева направо в нескончаемой вакханалии между кольцом мертвых тел и кольцом огня.

Возможно, это просто фантазия разыгралась; возможно, это было всего лишь эхо – но только одному из полицейских, впечатлительному испанцу, почудилось, будто он слышит ответные отзвуки, как бы вторящие ритуальному пению – откуда-то издалека, из неосвещенной тьмы в глубине чащи, средоточия древних легенд и ужасов. Этого человека, именем Джозеф Д. Калвес, я впоследствии отыскал и расспросил; и да, как ни досадно, воображения ему было не занимать. На что он только не намекал – и на шелестящие взмахи гигантских крыльев, и на отблеск сверкающих глаз, и на смутно белеющую за дальними деревьями громаду – но я так полагаю, это он местных суеверий наслушался.

Строго говоря, потрясенное замешательство полицейских продлилось недолго. Служба – прежде всего; и хотя одержимой швали в толпе насчитывалось человек под сто, блюстители порядка, полагаясь на огнестрельное оружие, решительно ринулись в самую гущу гнусного сборища. Шум, гвалт и хаос первых пяти минут не поддаются никакому описанию. Сыпались яростные удары, гремели выстрелы, кому-то удалось бежать, но в конце концов Лэграсс насчитал сорок семь угрюмых пленников. Их заставили по-быстрому одеться и выстроили в цепочку между двумя рядами полицейских. Пятеро идолопоклонников были убиты на месте, а двоих тяжело раненых унесли на импровизированных носилках их же арестованные собратья. А статуэтку инспектор Лэграсс осторожно снял с монолита и забрал с собой.

Путь назад оказался чрезвычайно тяжелым и утомительным. В полицейском отделении пленников допросили; все они оказались умственно отсталыми полукровками – самые что ни на есть отбросы общества. В большинстве своем это были матросы, и среди них – несколько мулатов и негров, главным образом уроженцев Вест-Индии и португальцев с Брава и других островов Кабо Верде: они-то и привносили оттенок вудуизма в разношерстный культ. Но уже после первых вопросов стало ясно, что речь идет о веровании более глубоком и древнем, нежели негритянский фетишизм. При всем своем невежестве и убожестве эти несчастные с удивительной согласованностью держались ключевой идеи своей омерзительной религии.

По их словам, они поклонялись Властителям Древности, которые жили за много веков до появления первых людей и явились в только что созданный мир с небес. Теперь Властители ушли, они в недрах земли и в морских глубинах, но их мертвые тела поведали свои тайны через сны первым людям, а те создали культ, и культ этот жив по сей день. Это он и есть; арестанты уверяли, что культ существовал всегда и пребудет вечно, в дальней глуши и в темных укывищах по всему свету – до тех пор, пока великий жрец Ктулху не восстанет в своем черном чертоге в могучем городе Р'льех под водой и снова не подчинит себе землю. Однажды, при нужном положении звезд, он позовет – а до тех пор тайный культ неизменно ждет своего часа, – дабы освободить Ктулху.

А до тех пор – более ни слова. Даже под пыткой служители культа не выдали бы своего секрета. Среди мыслящих земных существ человек не вовсе одинок, ибо из тьмы к немногим верным приходят призраки. Но это – не Властители Древности. Властителей никому из людей видеть не доводилось. Резной идол изображает великого Ктулху, но никто не взялся бы утверждать, насколько похожи на него все прочие. Ныне никому не под силу прочесть древние письма, но многое передавалось из уст в уста. Ритуальный речитатив тайной не являлся – о тайнах говорили не вслух, но шепотом. Песнопение означало всего-навсего: «В своем чертоге в Р'льехе мертвый Ктулху грезит и ждет».

Только двое арестованных оказались достаточно вменяемы, чтобы отправить их на виселицу; остальных поместили в соответствующие лечебницы. Свое участие в ритуальных убийствах все отрицали, уверяя, будто жертв умерщвляли Черные Крылья, прилетавшие со своего исконного места встречи в колдовском лесу. Но никакой связной информации об этих загадочных пособниках получить так и не удалось. Почти все, что полиции посчастливилось выяснить, сообщил престарелый метис по имени Кастро: он утверждал, будто причаливал в чужеземных гаванях и беседовал с бессмертными вождями культа в горах Китая.

Старик Кастро припомнил обрывки жуткой легенды, пред которой бледнели домыслы теософов, а мир и человек казались воистину юны и скоротечны. В незапамятные эпохи на земле царили Иные – Они возвели величественные города. То, что от них осталось (как якобы рассказывали бессмертные китайцы), сохранилось и по сей день: циклопическая кладка на островах Тихого океана. Все Они вымерли за много веков до появления человека; однако ж с помощью тайных искусств Их можно оживить, когда звезды снова встанут в нужное положение в цикле вечности. Сами Они некогда пришли со звезд и принесли с собою Свои изваяния.

Эти Властители Древности, продолжал Кастро, не вполне из плоти и крови. У Них есть обличье – разве не подтверждает того статуэтка со звезд? – но обличье это нематериально. При должном расположении звезд Они могут переноситься по небу из мира в мир, но когда звезды неблагоприятны, Они не живут. Однако и не будучи живыми, Они не могут умереть в полном смысле этого слова. Все Они покоятся в каменных чертогах в Своем великом городе Р'льех, защищенные чарами могучего Ктулху в преддверии славного воскрешения, когда звезды и земля снова будут готовы принять Их. Но в нужный час понадобится некая внешняя сила, дабы помочь освободить Их тела. Чары, сохранявшие Их нетленными, не дают Им и воспрясть; Они могут лишь бодрствовать во тьме, погруженные в думы, пока над землей текут бесчисленные миллионы лет. Они знают обо всем, что происходит во вселенной, ибо речью Им служит обмен мыслями. Даже сейчас Они беседуют в Своих гробницах. Когда же на смену беспредельному хаосу появились первые люди, Властители Древности воззвали к наиболее чутким из них, придавая форму их снам, ибо только так мог Их язык воздействовать на плотский разум млекопитающих.

Тогда, прошептал Кастро, эти первые люди создали культ вокруг небольших идолов, что явили им Властители, – идолов, принесенных в сумеречные эпохи с темных звезд. Этот культ не умрет вовеки – до тех пор, пока звезды не примут вновь нужное положение; тогда тайные жрецы выведут великого Ктулху из гробницы, дабы Он оживил Своих подданных и вновь воца-

рился на земле. Распознать, что время пришло, будет нетрудно, ибо в ту пору человек уподобится Властителям Древности – станет свободен и дик, вне добра и зла, отринет закон и мораль; мир захлестнут крики и вопли, кровопролитие и разгульное веселье. Тогда освобожденные Властители научат людей по-новому кричать, убивать, ликовать и радоваться, и по всей земле запыхает губительный пожар экстатической свободы. Между тем культ, посредством подготавливающих обрядов, должен хранить память о древних обычаях, предвосхищая пророчество об их возрождении.

В былые времена избранные говорили с погребенными Властителями через сны, а потом случилась великая катастрофа. Каменный город Р'льех вместе с его монолитами и гробницами ушел под воду. Бездонная пучина, средоточие той единственной исконной тайны, сквозь которую не проникнет даже мысль, оборвала призрачное общение. Но память не умирает; и верховные жрецы говорят, будто при благоприятном расположении звезд город поднимется вновь. Тогда из глубинных недр появились черные духи земли, гнилостные и неясные, неся смутные слухи из пещер под позабытым дном моря. Но о них старик Кастро не смел распространяться подробнее. Он тут же прикусил язык, и никакими уговорами и хитростями так и не удалось вытянуть из него больше. Любопытно, что про *размеры* Властителей он тоже отказался рассказывать. Что до культа, по предположениям Кастро, центр его находится в нехоженных пустынях Аравии, где дремлет Ирем многоколонный, сокрыт и нетронут. Культ никак не связан с европейским чернокнижием и за пределами круга посвященных практически неизвестен. Ни в одной книге не содержится о нем даже намеков, хотя бессмертные китайцы говорили, будто в «Некрономиконе» безумного араба Абдула Альхазреда многие фразы несут в себе двойной смысл, и посвященные вольны прочитывать их так, как считают нужным, особенно знаменитые строки:

Не мертв, кого навек объяла тьма.  
В пучине лет умрет и смерть сама.

Леграсс, глубоко потрясенный и немало озадаченный, напрасно допытывался о месте культа в истории. Кастро, по всей видимости, не солгал, утверждая, что культ хранится в глубокой тайне. Специалисты из Тулейнского университета не смогли сказать ничего определенного ни о культе, ни о статуэтке. И вот теперь инспектор обратился к светилам из светил, ведущим специалистам страны – и вынужден был удовольствоваться всего-то-навсего рассказом о Гренландии из уст профессора Уэбба.

Лихорадочный интерес, вызванный сообщением Леграсса и подогретый еще больше благодаря статуэтке, эхом звучит в последующей переписке участников конференции, хотя в официальных публикациях общества тема эта почти не затрагивается. Осмотрительность – девиз тех, кто привык то и дело сталкиваться с подлогом и шарлатанством. Леграсс на время ссудил идола профессору Уэббу, но после смерти ученого статуэтка вернулась к Леграссу и по сей день находится у него; не так давно я имел возможность с нею ознакомиться. Скульптура воистину жуткая и, несомненно, сродни барельефу из сна молодого Уилкокса.

Надо ли удивляться, что деда взволновала история скульптора! Ведь он уже знал о культе со слов Леграсса – и вот вам пожалуйста, судьба столкнула его с гиперчувствительным юношей, которому *приснилось* не только изображение и точные иероглифы как с болотного идола, так и с гренландской адской таблички, но который *во сне* услышал по меньшей мере три слова из заклинания, повторяемого как дьяволопоклонниками-эскимосами, так и полукровками-луизианцами! Естественно, профессор Эйнджелл тотчас же взялся за доскональное расследование; хотя я все еще подозревал про себя, что молодой Уилкокс каким-то косвенным образом прослышал о культе и просто-напросто выдумал серию сновидений, дабы нагнетать и всячески раздуть таинственность за счет моего деда. Записи снов и газетные вырезки из коллекции

профессора, несомненно, явились весомыми доказательствами, но мой неистребимый рационализм и необычность всей этой истории неумолимо подталкивали меня к, казалось бы, самым разумным выводам. Так что, еще раз тщательно изучив рукопись и сопоставив фрагменты из теософских и антропологических трудов с Лейбассовым рассказом о культе, я отправился в Провиденс, чтобы лично повидаться со скульптором и осыпать его, как мне казалось, заслуженными упреками за беззастенчивое издевательство над пожилым ученым.

Уилкоккс по-прежнему проживал в одиночестве в здании «Флер-де-лис» на Томас-стрит – в этой чудовищной викторианской имитации бретонской архитектуры семнадцатого века, что выставляет напоказ оштукатуренный фасад среди очаровательных особняков колониальной эпохи на древнем холме, под сенью роскошнейшего из георгианских шпилей Америки. Я застал юношу за работой и уже по разбросанным тут и там образцам с первых же минут понял, что имею дело с подлинным, несомненным гением. Полагаю, в один прекрасный день он прославится как один из великих декадентов, ибо он запечатлел в глине, а в один прекрасный день отразит и в мраморе те фантазии и кошмары, что Артур Мейчен воплощает в прозе, а Кларк Эштон Смит являет в стихах и в живописи.

Темноволосый, хрупкого сложения и несколько неряшливого вида, он томно обернулся на мой стук и, не вставая, осведомился, что у меня за дело. Я представился; он выказал некоторый интерес – мой дед некогда возбудил его любопытство: расспрашивая о странных снах, он, однако ж, так и не объяснил, в чем состояла суть его исследований. На этот счет и я его просвещать не стал, но ненавязчиво попытался его разговорить. Очень скоро я убедился в совершенной его искренности: он говорил о снах в манере весьма характерной. Эти сновидения и отпечаток их в подсознании глубоко повлияли на его творчество: Уилкоккс показал мне чудовищную статую, очертания которой просто-таки дышали зловещей недоговоренностью. Скульптор не помнил, чтобы ему доводилось видеть оригинал, вот разве что на его собственном барельефе из сна, но контуры фигуры возникали под его рукой сами собою. Несомненно, именно этот гигантский фантом являлся ему в бреду. Вскоре стало очевидно, что юноша в самом деле ничего не знал о тайном культе, кроме разве того, что проскальзывало ненароком в ходе дедова безжалостного допроса; и я вновь принялся ломать голову, где же Уилкоккс мог почерпнуть эти жуткие образы.

О снах Уилкоккс рассказывал в причудливой поэтической манере, так, что я с ужасающей яркостью представлял себе и сырой циклопический город из склизкого зеленого камня, *геометрия* которого, по невразумительному отзыву юноши, *насквозь неправильная*, и с боязливым предвкушением слышал неумолчный, словно бы мысленный зов из-под земли: «Ктулху фхтагн, Ктулху фхтагн». Эти слова складывались в страшный ритуал, повествующий о сонном бдении мертвого Ктулху в каменном склепе Р'льеха; и, несмотря на весь мой рационализм, меня пробрало до самых костей. Наверняка Уилкоккс где-то краем уха услышал о культе и вскороности позабыл о нем под наплывом столь же странных впечатлений от книг и грез. Однако ж впечатление запало юноше в душу и позже нашло выражение через бессознательное – в снах, в барельефе и в кошмарной статуе, что ныне стояла передо мной. Разумеется, деда он ввел в заблуждение не нарочно. Такой тип молодых людей – одновременно слегка претенциозный и несколько развязный – я всегда не жаловал, однако ж теперь я был готов признать как незаурядный талант Уилкоккса, так и его порядочность. Я дружески с ним распрощался и пожелал многообещающему гению всяческих успехов.

Между тем история культа по-прежнему меня завораживала; а порою я мечтал о том, как прославлюсь, досконально изучив происхождение культа и его связи. Я побывал в Новом Орлеане, потолковал с Лейбассом и другими полицейскими, участниками той давней облавы, своими глазами увидел страшного идола и даже допросил нескольких арестантов-метисов, что дожили до сего дня. К сожалению, старик Кастро вот уже несколько лет как умер. То, что я теперь узнал из первых рук как наглядное подтверждение всего того, что записал мой дед,

взволновало меня заново. Я был уверен, что попал на след самой настоящей, архисекретной и весьма древней религии и открытие это принесет мне известность как антропологу. Я по-прежнему подходил к культу с позиций убежденного материалиста – *хотел бы я оставаться таковым и сейчас!* – и с необъяснимым упрямством сбрасывал со счетов совпадения между записями снов и подборкой странных газетных вырезок, составленной профессором Эйнджеллом.

Единственное, что я тогда заподозрил, а теперь, боюсь, уверен в том доподлинно: дед мой умер отнюдь не естественной смертью. Он рухнул как подкошенный на узкой улочке, уводящей вверх по холму от старинной набережной, где кишмя кишел всякий заезжий сброд, – упал, после того как его случайно толкнул матрос-негр. Я хорошо помнил, что представляли собою служители культа в Луизиане: по большей части полукровки, по роду занятий связанные с морем, – не удивлюсь, если существуют разнообразные тайные способы и отравленные иголки, известные издревле и столь же неумолимые, как и загадочные обряды и верования. Лейграсса и его людей оставили в покое, что правда, то правда, а вот некий моряк из Норвегии, насмотревшийся на то и это, тоже мертв. Что, если подробные расспросы моего деда после того, как он пообщался со скульптором, дошли до недобрых ушей? Думается мне, профессор Эйнджелл погиб, потому что слишком много знал или был к тому близок. Посмотрим, постигнет ли та же участь и меня – ибо теперь я и впрямь знаю слишком много.

### III Безумие с моря

Если небеса когда-либо захотят меня облагодетельствовать, пусть они целиком и полностью сотрут из моей памяти последствия того, что однажды взгляд мой по чистой случайности упал на полку, застеленную ненужной бумагой. В моих повседневных занятиях ничего подобного мне бы в жизни не подвернулось: то был старый номер австралийского журнала «Сиднейский вестник» за 18 апреля 1925 года. Он ускользнул даже от внимания пресс-бюро моего деда, которое на тот момент жадно собирало материал для профессорских исследований.

Я уже почти бросил наводить справки о том, что профессор Эйнджелл называл «культурой Ктулху». В ту пору я гостил у одного своего высокоученого друга в Патерсоне, штат Нью-Джерси: он был хранителем местного музея и известным минералогом. Однажды, рассматривая экспонаты резервного фонда, в беспорядке разложенные на полках хранилища в самой глубине музея, я случайно наткнулся на странную иллюстрацию в одном из старых журналов, подстеленных под камни. Это и был вышеупомянутый «Сиднейский вестник», ибо друг мой имел широкие связи во всех мыслимых уголках мира; иллюстрация представляла собою полутонное изображение отвратительного каменного идола – точную копию того, что нашел на болотах Лейграсса.

Жадно высвободив журнал из-под ценных образцов, я внимательно просмотрел заметку: к моему вящему сожалению, она оказалась недлинной. Однако ж содержание ее оказалось чрезвычайно важным для моих безуспешных розысков; я аккуратно вырвал страницу, это неожиданное руководство к действию. Говорилось в заметке следующее:

#### «В МОРЕ ОБНАРУЖЕНО ЗАГАДОЧНОЕ ПОКИНУТОЕ СУДНО

*«Бдительный» возвращается с неуправляемой тяжеловооруженной новозеландской яхтой на буксире.*

*На борту обнаружены люди: один выживший и один покойник. История отчаянной битвы и смертей на море. Спасенный моряк отказывается делиться подробностями о пережитом. При нем найден странный идол. Ведется расследование.*

Грузовое судно «Бдительный» компании «Моррисон», идущее из Вальпараисо, причалило нынче утром к пристани в гавани Дарлинг, ведя на буксире поврежденную, выведенную из строя, но тяжеловооруженную паровую яхту «Сигнал» из Данидина (Новая Зеландия). Яхта была обнаружена 12 апреля на  $34^{\circ}21'$  южной широты,  $152^{\circ}17'$  западной долготы, с двумя людьми на борту; один из них жив, один – мертв.

«Бдительный» покинул Вальпараисо 25 марта, а 2 апреля отклонился от курса заметно южнее по причине исключительной силы штормов и чудовищных волн. 12 апреля было замечено покинутое судно; на первый взгляд на нем не было ни души, но, поднявшись на борт, моряки обнаружили одного уцелевшего в полубредовом состоянии и один труп – по всей видимости, этот человек умер больше недели назад. Выживший судорожно сжимал в руке кошмарного каменного идола неизвестного происхождения, примерно в фут высотой, о природе которого специалисты из Сиднейского университета, Королевского общества и музея на Колледж-стрит пребывают в полном недоумении. Спасенный утверждает, что нашел статуэтку в каюте яхты, в маленьком, ничем не примечательном резном ковчеге.

Этот человек, придя в сознание, рассказал историю в высшей степени странную – о пиратстве и смертоубийстве. Зовут его Густав Йохансен, он норвежец, умом не обделен, был вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма» из Окленда; шхуна отплыла в Кальяо 20 февраля, с экипажем из одиннадцати человек на борту. По словам Йохансена, «Эмма» изрядно задержалась в пути и отклонилась от курса далеко к югу по причине сильного шторма, разыгравшегося 1 марта. 22 марта на  $49^{\circ}51'$  южной широты,  $128^{\circ}34'$  западной долготы она повстречала «Сигнал», команда которого, состоящая из канаков и метисов, вид имела недобрый и крайне подозрительный. Капитану Коллинзу безапелляционно приказали поворачивать назад, тот отказался, тогда странная шайка без предупреждения открыла яростный огонь по шхуне из батареи тяжелой артиллерии – из медных пушек, которыми была укомплектована яхта. Команда «Эммы» вступила в бой, рассказал уцелевший, и хотя шхуна начала тонуть – ее обстреляли ниже ватерлинии, – ей удалось-таки подойти вплотную к яхте. Матросы «Эммы» высадились на палубу неприятельского судна, схватились со свирепыми дикарями, которым ненамного уступали числом, и вынуждены были перебить их всех – ибо те сражались пусть и неумело, однако не на жизнь, а на смерть, не щадя никого.

Трое с «Эммы» погибли, в том числе капитан Коллинз и первый помощник Грин, а оставшиеся восемь под командованием второго помощника Йохансена взяли на себя управление захваченной яхтой и поплыли дальше в первоначальном направлении – проверить, в силу какой причины им велели поворачивать вспять. На следующий день они якобы высадились на небольшом островке, хотя в этой части океана никаких островов не отмечено; и шестеро членов экипажа там загадочным образом погибли. Эту часть истории Йохансен, как ни странно, замалчивает – говорит лишь, что они сгинули в скальном провале. Потом он и его единственный спутник, по-видимому, вернулись на яхту и попытались управлять ею, но 2 апреля разыгрался шторм и корабль оказался во власти ветров и волн. С того момента и вплоть до 12 числа, когда его спасли, Йохансен почти ничего не помнит – не знает даже, когда умер его напарник, Уильям Бриден. Смерть Бридена наступила по невыясненной причине – видимо, вследствие перевозбуждения или переохлаждения. По телеграфу из Данидина сообщили, что островное торговое судно «Сигнал» было там хорошо известно и пользовалось в порту самой дурной репутацией. Владела им странная шайка, состоящая из людей смешанной крови; их частые сборища и ночные вылазки в лес вызвали немалое любопытство. Сразу после бури и землетрясения 1 марта судно поспешно снялось с якоря и вышло в море. Наш корреспондент из Окленда дает прекрасные отзывы об «Эмме» и ее экипаже, а Йохансен охарактеризован как человек порядочный и здравомыслящий. Начиная с завтрашнего дня адмиралтейство назначит расследование дела, в ходе которого Йохансена постараются убедить рассказать о происшедшем подробнее».



И это было все в придачу к изображению адской скульптуры, но что за поток мыслей всколыхнулся в моем сознании! Вот она – новая сокровищница фактов о культе Ктулху, вот оно – наглядное свидетельство тому, что культ ведет престранную деятельность как на суше, так и на море. Что за мотив побудил разношерстную команду приказать «Эмме» поворачивать вспять, в то время как сами эти люди плыли куда-то со своим омерзительным идолом? Что это еще за неведомый остров, на котором погибли шесть человек из экипажа «Эммы» и о котором второй помощник Йохансен упорно хранил молчание? Что выявило расследование вице-адмиралтейства и многое ли известно о пагубном культе в Данидине? И самое удивительное: что это за подспудная и не иначе как сверхъестественная связь дат – связь, наделившая злоеющей и теперь уже бесспорной значимостью разнообразные повороты событий, столь тщательно задокументированные моим дедом?

1 марта – наше 28 февраля согласно международной демаркационной линии времени: землетрясение и буря. «Сигнал» и его гнусная команда поспешно покидают Данидин, словно торопясь на властный зов, а на другой стороне земного шара поэты и художники видят во сне странный сырой циклопический город и молодой скульптор вылепливает во сне фигуру кошмарного Ктулху. 23 марта команда «Эммы» высаживается на неизвестный остров, шесть человек гибнут. В тот же самый день сны гиперчувствительных людей обретают небывалую яркость и живость, окрашиваются ужасом перед злобным преследованием гигантского монстра; некий архитектор сходит с ума, а скульптор внезапно впадает в бредовое состояние! А как насчет шторма 2 апреля – именно тогда все сны о сыром городе прекратились, а Уилкоккс воспрял от странной лихорадки живой и невредимый? Как это все понимать – и как понимать намеки старика Кастро касательно погруженных в пучину звезднорожденных Властителей, их грядущего царства, преданного им культа и *их способности управлять нами*? Уж не балансирую ли я на самой грани космических ужасов, вынести которые человеку не под силу? А если так, то это, должно быть, ужасы чисто умозрительного характера, ведь каким-то непостижимым образом 2 апреля положило конец чудовищной угрозе, взявшей было в осаду душу человечества.

Тем же вечером, в спешке отправив несколько телеграмм и предприняв все необходимые приготовления, я распрощался с моим хозяином и сел на поезд, идущий в Сан-Франциско. И месяца не прошло, как я уже был в Данидине, где, однако ж, обнаружил, что о странных служителях культа, некогда захаживавших в старые приморские таверны, почти ничего не известно. Порты вечно кишат всяким отребьем, но кто ж его запоминает? Однако ж ходили смутные слухи о том, как однажды эта разношерстная команда отправилась в глубь острова, и тогда на дальних холмах зажглось алое пламя и слышалось эхо барабанного боя. В Окленде я узнал, что по возвращении с поверхностного, чисто формального допроса в Сиднее Йохансен вернулся *седым*, при том что прежде был светловолос; продал свой домик на Уэст-стрит и отплыл с женой на родину, в Осло. Другьям о своем необычайном приключении он рассказал не больше, чем чиновникам адмиралтейства; все, чем они смогли мне помочь, – это дать мне адрес Йохансена в Осло.

Я отправился в Сидней и поговорил с моряками и представителями адмиралтейского суда, да только все без толку. На Круговой набережной в сиднейской бухте я своими глазами видел «Сигнал»: яхту продали, и теперь она использовалась в коммерческих целях. Ее ничем не примечательный корпус не открыл мне ничего нового. Фигурка монстра с моллюскообразной головой, драконьим телом и чешуйчатыми крыльями, замершего в полуприседе на покрытом иероглифами пьедестале, хранилась в музее в Гайд-парке. Я долго и придирчиво изучал статуэтку – то была скульптура воистину злоеющая в своем утонченном совершенстве, столь же непостижимо загадочная и чудовищно древняя, как и уменьшенная копия Леграсса – и из того же странного внеземного материала. Геологи, как сообщил мне хранитель музея, до сих пор ломают головы, уверяя, что в мире такого камня просто не существует. Я вздрогнул, вспомнив,

что старик Кастро рассказывал Леграссу о первобытных Властителях: «Они некогда пришли со звезд и принесли с собою Свои изваяния».

Все перевернулось в моей душе. Потрясенный как никогда, я решил во что бы то ни стало отыскать в Осло второго помощника Йохансена. Я отплыл в Лондон, тут же пересел на корабль, идущий в столицу Норвегии, и ясным осенним днем высадился на аккуратной, как картинка, пристани под сенью горы Эгеберг. Дом Йохансена, как выяснилось, находился в Старом городе короля Харальда Сурового, что хранил имя Осло на протяжении всех веков, пока город более обширный щеголял названием Христиания. Я сел в такси и очень скоро уже постучался с неистово бьющимся сердцем в дверь чистенького старинного особнячка с оштукатуренным фасадом. Мне открыла печальная женщина в черном – и можете представить себе мое разочарование, когда она сообщила мне на ломаном английском, что Густава Йохансена больше нет в живых.

После своего возвращения он прожил недолго, рассказывала миссис Йохансен, – происшедшее на море в 1925 году окончательно его сломило. Жене он рассказал не больше, чем общественности, но оставил объемную рукопись – «технические материалы», как сказал он сам, – причем на английском языке, по всей видимости, чтобы жена случайно не прочла опасную исповедь. Йохансен прогуливался по узкой улочке близ гётеборгского дока, как вдруг из чердачного окна выпала пачка бумаг – и сбила его с ног. Двое матросов-индийцев тут же подбежали к нему и помогли подняться, но еще до прибытия «скорой помощи» он испустил дух. Врачи так и не смогли установить причину смерти и списали все на болезнь сердца и ослабленный организм.

Тут-то я и ощутил, как гложет меня изнутри темный ужас, которому не суждено утихнуть вплоть до того момента, когда и я расстанусь с жизнью, «по чистой случайности» или как-то иначе. Убедив вдову, что мое непосредственное отношение к пресловутым «техническим материалам» дает мне право на рукопись, я увез документ с собой и, еще не успев взойти на корабль, идущий в Лондон, тут же погрузился в чтение. То было безыскусное, сбивчивое повествование – попытка простодушного моряка вести дневник постфактум и описать день за днем то последнее, страшное путешествие. Я не возьмусь скопировать рассказ дословно, при всех его длиннотах и невнятице, но перескажу самую суть – достаточно, чтобы показать, почему плеск воды о корабельный борт сделался для меня невыносим и я заткнул уши ватой.

Йохансен, благодарение Господу, знал далеко не все, хотя и видел своими глазами и город, и Тварь. Но не знать мне ни сна, ни покоя, пока я думаю об извечных ужасах, что затаились за гранью жизни во времени и в пространстве, и о тех богомерзких дьяволах с древних звезд, что погружены в сон на дне морском, – их знают и чтят служители страшного культа и только и ждут своего часа, дабы выпустить их в мир, как только очередное землетрясение вновь вознесет чудовищный каменный город навстречу солнцу и воздуху.

Плавание Йохансена началось ровно так, как он и рассказывал представителям вице-адмиралтейства. «Эмма» вышла в балласте из Окленда в феврале 1920 года и в полной мере ощутила на себе силу порожденной землетрясением бури, которая, должно быть, и вознесла из пучины кошмары, наводнившие людские сны. Когда кораблем снова стало возможно управлять, «Эмма» начала быстро нагонять упущенное время. 22 марта ее попытался задержать «Сигнал»; с искренним сожалением писал помощник капитана о том, как корабль обстреляли и затопили. О темнолицых служителях дьявольского культа с «Сигнала» Йохансен говорит с неподдельным страхом. Ощущалось в них нечто неопишимо омерзительное, отчего уничтожить это отребье представлялось едва ли не священным долгом, и Йохансен с нескрываемым недоумением выслушал обвинение в жестокости, выдвинутое против его людей в ходе расследования. Затем побуждаемые любопытством моряки поплыли дальше на захваченной яхте под командованием Йохансена, завидели, что над морем торчит гигантская каменная колонна, и на 47°09' южной широты, 126°43' западной долготы причалили к береговой линии, где над

грязью и илом громоздилась затянутая водорослями циклопическая кладка. Это была не иначе как осязаемая реальность величайшего из ужасов земли – кошмарный город-могильник Р'лех, возведенный за необозримые миллиарды лет до начала истории отвратительными гигантскими пришельцами с темных звезд. Там покоился великий Ктулху и его полчища, сокрытые в зеленых илистых склепах; оттуда наконец-то, спустя бесчисленные века, они слали мысли, насаждавшие страх в снах чутких провидцев, и властно обращались к своим преданным адептам, призывая их к паломничеству во имя освобождения и возрождения. Обо всем об этом Йохансен даже не подозревал, но, Господь свидетель, вскорости увидел он достаточно!

Полагаю, что над водой поднялась только одна из горных вершин – чудовищная, увенчанная монолитом цитадель, ставшая гробницей для Ктулху. Когда же я задумываюсь об истинном размахе всего того, что, вероятно, таится там, внизу, я с трудом удерживаюсь от самоубийства. Йохансен и его товарищи благоговейно взирали на космическое величие этого сочащегося влагой Вавилона старейших демонов; они, должно быть, и без подсказки догадались, что город не имеет отношения ни к этой, ни к любой другой нормальной планете. В каждой строчке пугающего описания живо ощущается священный ужас перед неправдоподобной величиной зеленых каменных глыб, и головокружительной высотой гигантского изваянного монолита, и ошеломляющим сходством колоссальных статуй и барельефов со странной статуэткой, обнаруженной в ковчеге на борту «Сигнала».

Йохансен ведать не ведал, что такое футуризм, и, однако ж, рассказывая про город, он достиг весьма близкого эффекта; ибо, вместо того чтобы описывать какое-то определенное строение или здание, он передает лишь общие впечатления от неохватных углов и каменных плоскостей – поверхностей слишком обширных и явно неуместных для этой земли и в придачу испещренных богопротивными изображениями и иероглифами. Я упомянул про его рассуждения об *углах*, поскольку они отчасти перекликаются с тем, что поведал мне Уилкоккс о своих жутких снах. Скульптор настаивал, что *геометрия* пригрезившегося ему места была аномальной, неевклидовой, и просто-таки дышала тошнотворными сферами и измерениями, чуждыми нам. А теперь и необразованный матрос ощутил то же самое перед лицом страшной реальности.

Йохансен и его люди высадились на отлогом илистом берегу этого чудовищного акрополя и, оскальзываясь, вскарабкались наверх по исполинским влажным глыбам явно нечеловеческой лестницы. Даже солнце небес словно бы представало в искаженном виде сквозь рассеивающие свет миазмы, клубящиеся над этим уродливым порождением моря. Извращенная угроза и смутная тревога плотоядно затаились среди безумных, ускользающих от понимания углов и плоскостей резного камня: там, где только что была выпуклость, мгновение спустя взгляд различал впадину.

Еще до того, как глазам открылось что-либо более определенное, нежели камень, ил и водоросли, исследователи ощутили нечто похожее на страх. Каждый из них уже обратился бы в бегство, если бы не опасался пасть в глазах остальных; с явной неохотой искали они – как выяснилось, напрасно – хоть что-нибудь, что можно было бы унести на память.

Португалец Родригес взобрался к самому подножию монолита – и громким криком возвестил о какой-то находке. Прочие последовали за ним и с любопытством усталились на громадную резную дверь с уже знакомым барельефом в виде не то кальмара, не то дракона. По словам Йохансена, дверь была огромная, вроде амбарных ворот, и безошибочно распознавалась по изукрашенной притолоке, порогу и косяку, хотя было не вполне понятно, установлена ли она вплотную, вроде как дверца люка, или наклонно, как в подвале. Как сказал бы Уилкоккс, геометрия этого места – насквозь неправильная. Невозможно было поручиться, что море и земля лежат в горизонтальной плоскости, и потому взаимное расположение всего прочего представлялось изменчивой фантазмагорией.

Бриден толкнул камень в нескольких местах – но безрезультатно. Затем Донован осторожно ощупал дверь вдоль края, нажимая на каждую из точек по очереди по мере продвижения. Он бесконечно долго карабкался вверх вдоль гротескного каменного карниза – то есть можно было бы сказать «карабкался», не будь эта плоскость все-таки горизонтальной, – а все недоумевали, откуда только взялась во вселенной дверь настолько огромная. И тут, беззвучно и плавно, панель площадью в акр в верхней своей части подалась внутрь; как выяснилось, она находилась в равновесии. Донован не то соскользнул, не то съехал вниз – или вдоль – косяка и присоединился к товарищам. Все заворуженно наблюдали, как покрытый чудовищной резьбой портал непостижимо уходит в глубину. В этом бреде призматического искажения он двигался неестественно, по диагонали, нарушая тем самым все законы материи и перспективы.

Провал наполняла тьма – тьма почти что материальная. Эта мгла воистину обладала положительным свойством: она затушевывала те части внутренних стен, что в противном случае открылись бы взгляду, и просто-таки выплескивалась наружу, как дым, из своего многовекового заточения, зримо затмевая солнце по мере того, как расползалась все дальше, выплывала на съезжившееся плоско-выпуклое небо, взмахивая перепончатыми крыльями. Из разверстых глубин поднимался невыносимый смрад. Со временем чуткому Хокинсу почудилось, будто он слышит там, внизу, мерзкий хлюпающий звук. Все насторожились – все чутко вслушивались, когда показалось Оно: истекая слизью, тяжело и неуклюже Оно на ощупь протиснулось в черный проем всем своим зеленым и желеобразным громадным телом – и вылезло в тлетворную атмосферу отравленного града безумия.

Когда Йохансен дошел до этого места, у бедняги едва не отнялась рука. Из шестерых матросов, что до корабля так и не добрались, двое, по всей видимости, скончались на месте от ужаса. Описанию Тварь не поддается – не придумано еще языка, дабы воздать должное этим безднам истерического древнего безумия, этому сверхъестественному противоречию материи, силе и вселенскому миропорядку. Ходячая, ковыляющая гора! Боже праведный! Стоит ли удивляться, что в этот проклятый миг мыслепередачи на другом конце земли великий архитектор сошел с ума, а злополучный Уилкокс метался в лихорадочном бреде? Тварь, увековеченная в идолах, зеленое, липкое исчадие звезд, пробудилась – и явилась требовать своего. Звезды вновь встали в нужное положение, и то, чего не сумел исполнить преднамеренно многовековой культ, по чистой случайности совершила команда бесхитростных моряков. Спустя вигинтиллионы лет великий Ктулху вновь вырвался на свободу – и не было пределов его ликования.

Никто и оглянуться не успел, как Тварь уже подцепила троих своими вислыми когтями. Да упокоит бедняг Господь, если только есть во вселенной покой! То были Донован, Геррера и Ангстрем. Остальные трое сломя голову кинулись через бесконечные нагромождения позеленевшего камня обратно к кораблю. Паркер поскользнулся; и Йохансен клянется, что его поглотил угол здания, которого там и быть не могло: острый угол, который вел себя как тупой. Так что до лодки добежали только Бриден с Йохансеном, они отчаянно схватились за весла и во весь дух понеслись к «Сигналу», а чудовищная громадина плюхнулась на камни и замешкалась, барахтаясь на мелководье.

Несмотря на то что вся команда сошла на берег, паровой котел не был отключен вовсе, так что понадобилось лишь несколько секунд лихорадочной беготни между штурвалом и машинным отделением, чтобы «Сигнал» пришел в движение. Мотор заработал – медленно, на фоне извращенных ужасов этой неопишуемой сцены, взрезая смертоносные воды, – а на каменной кладке этого нездешнего берега-мавзолея исполинская Тварь-со-звезд пускала слюни и бормотала что-то невнятное, как Полифем, проклиная корабль бежавшего Одиссея. Но великий Ктулху оказался храбрее легендарных циклопов: он маслянисто сполз в воду и кинулся вдогонку, широкими, вселенски-мощными взмахами поднимая громадные волны. Бриден оглянулся – и лишился рассудка, он пронзительно расхохотался и с тех пор то и дело

разражался хохотом, пока однажды ночью смерть не пришла за ним в каюту, когда Йохансен метался в бреду.

Но Йохансен не сдался. Понимая, что Тварь всенепременно настигнет «Сигнал», пока яхта не набрала скорость, он решился на отчаянную меру и, прибавив тягу, молнией метнулся на палубу и крутанул штурвал, дав обратный ход. Зловонная пучина вспенилась, взбурлила гигантским водоворотом, паровой котел набирал мощность, а храбрый норвежец направил корабль прямоком на преследующее его желе, что поднималось над грязной пеной, точно корма какого-то демонического галеона. Чудовищная кальмарья голова и шевелящиеся щупальца были почти вровень с бушпритом крепкой яхты, но Йохансен безжалостно гнал яхту вперед. Раздался взрыв – словно с треском лопнул громадный пузырь; гнусно, слякотно захлупало, точно вспороли медузу, в воздухе разлилась вонь, точно из тысячи разверстых могил, послышался звук, воспроизводить который на бумаге автор записей не пожелал. На краткое мгновение корабль накрыло едкое и слепящее зеленое облако, за кормой ядовито вскипала и побулькивала вода, где – Господи милосердный! – вязкие ошметки этого неназываемого исчадия неба текуче *воссоединялись* в исходную отвратительную форму. Но с каждой секундой расстояние между ним и кораблем все увеличивалось: двигатель работал на полную мощность и «Сигнал» набирал скорость.

Вот, в сущности, и все. После того Йохансен лишь мрачно размышлял над идолом в каюте да время от времени стряпал нехитрую еду себе и хохочущему маньяку рядом. После первого героического прорыва он уже не пытался управлять кораблем, на смену возбуждению пришел упадок сил, из души словно что-то ушло. Затем 2 апреля разразилась буря, и в сознании его сгустилась тьма. Было ощущение призрачного круговорота в водной пучине бесконечности, головокружительной гонки через мятущиеся вселенные на хвосте кометы и отчаянных прыжков из бездны до луны и с луны обратно в бездну, и все это оживлялось безудержным хохотом уродливых разнузданных древних богов и зеленых насмешливых бесов с крылами летучей мыши из преисподней.

Из этого сна явилось спасение: «Бдительный», суд вице-адмиралтейства, улицы Данидина, долгая дорога обратно домой в старый особнячок близ холмов Эгеберга. Рассказать всю правду как есть Йохансен не мог – его бы сочли сумасшедшим. Он мог лишь записать все, что знал, перед тем, как умрет – но только так, чтобы жена ни о чем не догадалась. Смерть была бы благом – если бы только обладала властью стереть воспоминания.

Вот какой документ я прочел; теперь я кладу его в жестяную коробку вместе с барельефом и бумагами профессора Эйнджелла. Туда же отправятся и эти мои записи – доказательство моего душевного здоровья; в них собрано вместе все то, что, я надеюсь, никогда больше не будет сведено воедино. Я узрел весь тот ужас, что содержит в себе вселенная, и теперь даже весенние небеса и цветы лета отныне и впредь будут для меня что яд. Но не думаю, что мне суждено прожить долго. Как ушел из жизни мой двоюродный дед, как ушел бедняга Йохансен, так уйду и я. Я слишком много знаю, а культ – жив.

Жив и Ктулху, полагаю я, – все в той же каменной расселине, в которой укрывался с тех пор, как солнце было молодо. Его проклятый город вновь ушел под воду, ибо «Бдительный» проплыл над тем местом после апрельского шторма, но служители Ктулху на земле и по сей день орут и вопят, отплясывают и проливают кровь вокруг увенчанных идолами монолитов в глухих укывищах. Должно быть, монстр оказался в ловушке, когда канул на дно, запертый в своей черной бездне, иначе мир уже оглох бы от воплей безумия и страха. Но кому известен финал? То, что поднялось из глубин, может и затонуть; то, что затонуло, может подняться на поверхность. Тошнотворная мерзость ждет и грезит в пучине, города людей рушатся, распадается распад и тлен. Настанет время – но я не должен думать об этом, я не могу! Об одном молюсь: если я не переживу своей рукописи, пусть в моих душеприказчиках осторожность

возобладает над храбростью и они позаботятся о том, чтобы страницы эти никому больше не попались на глаза!



## Шепчущий из тьмы

### I

Запомните накрепко: в последний момент никакого зримого ужаса я не увидел. И сказать, будто окончательный вывод я сделал в состоянии психологического шока – последней соломинки, заставившей меня среди ночи спешно покинуть уединенную ферму Эйкли и помчаться в его автомобиле по безлюдной дороге меж округлых холмов Вермонта, – значит игнорировать элементарные факты. Невзирая на все серьезные вещи, которые я увидел и услышал, невзирая на всю наглядность впечатления, произведенного на меня этими тварями, я даже теперь не могу в точности сказать, прав я был или нет, придя к ужасающему умозаключению. Ведь, в конце концов, исчезновение Эйкли ни о чем не говорит. В его доме не нашли ничего подозрительного, за исключением следов от пуль, продырявивших стены снаружи и внутри. Можно было подумать, что он просто вышел на прогулку по окрестным горам и не вернулся. Ничто не указывало на то, что в доме побывали некие гости, и в его кабинете не нашли тех жутких металлических цилиндров и машин. А в том, что высокие лесистые горы и бесконечный лабиринт журчащих ручьев, среди которых он родился и вырос, внушали ему смертельный ужас, тоже нет ничего необычного; ведь тысячи людей подвержены аналогичным болезненным страхам. Странное же поведение, как и обуревавшие его приступы страха, можно легко объяснить эксцентричностью натуры.

События, сыгравшие столь значительную роль в моей жизни, случились во время печально знаменитого Вермонтского наводнения 3 ноября 1927 года. Тогда – как и сейчас – я преподавал литературу в Мискатоникском университете в Аркхеме, штат Массачусетс, и изучал древние поверья Новой Англии. Вскоре после того небывалого в истории наводнения среди множества публикаций в прессе о разрушениях, бытовых тяготах населения и помощи пострадавшим появились и странные сообщения о существах, обнаруженных в речных запрудах; тогда многие мои знакомые пустились с азартом обсуждать эти новости и попросили меня пролить свет на сей предмет. Мне было лестно сознавать, что они столь серьезно относятся к моим штудиям местного фольклора, и я постарался разоблачить те дикие рассказы, которые, как мне представлялось, выросли на почве невежественных деревенских суеверий. Меня немало забавляло, как некоторые весьма образованные люди с полной серьезностью настаивали на том, будто циркулировавшие слухи основывались на фактах – пусть даже искаженных и неверно истолкованных.

Источником небылиц, привлечших мое внимание, были главным образом газетные публикации; впрочем, одну историю, или, скорее, сплетню, мой приятель узнал из письма матери, жившей в Хардвике, штат Вермонт. В нем описывалось примерно все то же самое, что и в прочих слухах, но речь шла о трех не связанных между собой находках – одна была обнаружена в Уинуски-ривер близ Монпелье, другая – в Вест-ривер в округе Уиндэм за Ньюфаном, а третья – в реке Пассампсик в округе Каледония выше Линдонвилля. Разумеется, разные источники упоминали о множестве находок, но по всему выходило, что они толкуют именно об этих трех. В каждом случае местные жители сообщали о замеченных в бурных водах, что низвергались с пустынных холмов, неких диковинных жутковатых объектах, причем молва связывала эти объекты с циклом тайных и очень древних преданий, о которых ныне помнили лишь немногие старики.

Людам чудилось, будто они видели фрагменты органических существ, не похожих ни на какие доселе им известные. Естественно, в те трагические дни разлившиеся реки выбра-

сывали на берег тела погибших при наводнении; но очевидцы, описывавшие странные фрагменты, уверяли, что это не были человеческие останки, хотя и походили на людей размерами и общими очертаниями. Вместе с тем утверждалось, что эти фрагменты явно не принадлежали ни одному из животных, что водятся в Вермонте. Они были розоватого цвета, длиной около пяти футов; по виду напоминали ракообразных и имели множество пар то ли спинных плавников, то ли перепончатых крыльев и несколько пар членистых конечностей, а иные напоминали спиралевидный эллипсоид, покрытый множеством крохотных щупальцев – там, где у обычных ракообразных находится голова. Что особенно удивляло – так это точность, с какой совпадали описания из разных источников. С другой стороны, чему тут удивляться? Ведь старинные легенды этого горного края изобиловали живописными подробностями, которые исподволь питали возбужденное воображение так называемых очевидцев и расцветчивали их рассказы. Мой же вывод заключался в том, что очевидцы – а они в каждом случае были наивными и простодушными обитателями провинциальной глуши – замечали в потоках вод изуродованные и вздутые трупы людей и домашних животных; но тем не менее, под влиянием полузабытых местных легенд, приписывали несчастным жертвам наводнения самые фантастические свойства.

Предания старины, туманные, невнятные и большей частью давно забытые нынешним поколением, были весьма необычны и явно отражали влияние еще более древних индейских сказаний. Все это мне было прекрасно известно (хотя никогда до той поры я не бывал в Вермонте) по редчайшей монографии Эли Давенпорта, где описаны устные народные предания, собранные до 1839 года среди долгожителей штата. Эти предания к тому же совпадали с рассказами, которые я лично слышал от стариков в горных селениях Нью-Гэмпшира. Если суммировать все эти рассказы, то в них речь шла о неведомой расе ужасных существ, обитавших в самых отдаленных горных районах – в глухих чащах, на вершинах высоких пиков и в уединенных долинах, где протекают ручьи, берущие начало из неведомых ключей. Этих тварей редко когда удавалось увидеть воочию, и свидетельства их существования передавались теми, кто некогда отважился зайти на самые дальние склоны гор или спуститься в глубокие горные ущелья, которых избегали даже волки.

На илистых берегах тамошних ручьев и на иссохших клочках земли они находили диковинные отпечатки лап и клешней, а также выложенные из камней таинственные круги с вытоптанной по диаметру травой, которые явно не были созданы природой. А на склонах гор обнаруживались диковинные пещеры неведомой глубины, заваленные – отнюдь не случайно! – гигантскими валунами, и множество следов, ведущих как внутрь пещер, так и прочь от них – если, конечно, направление следов было верно определено. Но хуже того, там были найдены предметы, на которые даже самым безрассудным следопытам редко когда удавалось наткнуться в сумеречных долинах и в непроходимых чащах мачтового леса, далеко за границами областей, обычно посещаемых путешественниками.

Все это вызывало бы куда меньшую тревогу, если бы отрывочные рассказы об этих предметах не были столь похожи. А так сложилось, что почти все местные байки сходились в ряде важных подробностей: очевидцы уверяли, будто эти существа напоминают гигантских алых крабов с множеством пар лап и с парой огромных крыльев, точно у летучей мыши, посередине спины. Иногда существа передвигались на всех конечностях, но иногда лишь на паре задних лап, используя остальные для переноски крупных предметов неясного назначения. Кто-то однажды наблюдал целую их стаю значительной численности, которая организовано передвигалась по обмелевшей речушке стройными колоннами по трое в ряд. Как-то этих тварей видели в полете – они взмыли с вершины одинокой голой скалы ночью и исчезли в вышине, шумно махая огромными крыльями и на миг заслонив яркий диск луны.

Похоже, горным чудовищам не было дела до людей, хотя их кознями объясняли загадочные исчезновения поселенцев – особенно тех, кто намеренно строил дома слишком близко к

печально известным долинам или слишком высоко на склонах печально известных гор. Многие места в тех краях считались нежелательными для поселения, причем даже и после того, как повод для этого общераспространенного опасения давно позабылся. На иные окрестные горы люди смотрели с содроганием, хотя никто уже и не помнил, сколько поселенцев пропало в горных лесах и сколько домов сгорело дотла у подножия этих угрюмых зеленых часовых.

Согласно самым ранним легендам, жуткие твари нападали лишь на тех, кто осмеливался нарушать пределы их владений, но вот более поздние поверья рассказывали о том, что они выказывали любопытство в отношении людей и даже высылали тайные отряды слежения за поселенцами. Известны также рассказы о странных отпечатках когтей, что находили по утрам на оконных рамах фермерских домов, а также об исчезновении людей вдали от всем известных опасных мест. И еще рассказывали о странных жужжащих голосах, явно копирующих человеческую речь, которые делали ужасающие предложения одиноким путникам на тропинках или проезжих дорогах в лесных чащах, и о детишках, насмерть перепуганных увиденным или услышанным в тех местах, где вековые леса вплотную подступали к их жилищам. И наконец, в преданиях совсем недавнего прошлого – когда все прежние суеверия уже стерлись из памяти и люди вовсе перестали посещать те заповедные места – фигурируют ужасные истории об отшельниках и обитателях уединенных ферм, которые внезапно подвинулись рассудком и будто бы продали душу богомерзким тварям. А в одном из северо-восточных округов в самом начале XIX века возникло даже поверье обвинять эксцентричных и нелюдимых затворников в том, что они-де заключили союз с отвратительными тварями или стали их посланцами в нашем мире.

Что же до самих тварей, то тут описания, понятное дело, разнились. Обыкновенно их называли «те самые» или «те древние», хотя в разных местах бытовали и другие термины, но они не смогли закрепиться надолго. Возможно, многие поселенцы-пуритане считали их порождением дьявола и на этом основании пускались истово строить теологические спекуляции. Те же, в чьих жилах текла кельтская кровь – а таковыми были нью-гэмпширские потомки шотландцев и ирландцев и их сородичи, прибывшие в Вермонт осваивать дарованные губернатором Уэнтвортом земли, – связывали этих тварей со злыми духами или болотным «малым народцем» и оберегали себя от их козней заговорами, передававшимися из поколения в поколение. Но самые фантастические домыслы на их счет распространяли местные индейцы. При всем различии древних сказаний у разных индейских племен они совпадали в некоторых важнейших деталях. Так, существовало единодушное мнение, что эти твари – порождение не земного мира. В изобилующих живописными подробностями мифах пеннакуков рассказывается, что Крылатые прилетели с неба, с Большой Медведицы, и вырыли в земных горах глубокие шахты, где они добывают особые минералы, которых не найти нигде в других мирах. Они вовсе не поселились на Земле, говорят нам мифы, а просто выставили тут временные форпосты и регулярно летают к своим звездам в северной части неба с грузом добытых минералов. И уничтожают они лишь тех земных жителей, которые подбираются к ним чересчур близко или пытаются их выследить. Дикие звери сторонятся их из природного инстинкта, а не потому, что твари на них охотятся. Питаться земными растениями и животными Пришлые не могут, поэтому они принесли с собой свою пищу с далеких звезд. Подходить к их колониям опасно – вот почему молодые охотники, забредавшие в облюбованные тварями горы, пропадали навсегда. Столь же опасно вслушиваться в их ночное перешептывание в лесах, когда они жужжат точно пчелы, пытаясь подражать человеческой речи. Им ведом язык всех людей – пеннакуков, гуронов, пяти ирокезских племен, – но у них самих, похоже, нет своего языка, да они в нем и не нуждаются. Они переговариваются, меняя цвет головы, что и служит им для передачи осмысленных сообщений.

Разумеется, все легенды и предания, как индейские, так и белых поселенцев, в течение девятнадцатого века почти полностью забылись, лишь местами сохраняясь в форме древних

суеверий. После того как жители Вермонта прочно обосновались на земле и начали строить дороги и поселения по четкому плану, они все реже вспоминали о старинных страхах и запретах, в угоду которым эти планы составлялись. Большинство фермеров просто знали, что такие-то горные районы издавна считаются опасными, невыгодными для освоения или непригодными для проживания, и чем дальше от них держаться, тем лучше. Со временем вошедшие в привычку обычаи и соображения экономической выгоды столь глубоко укоренились, что поселенцам более не было смысла выходить за границы своих мест обитания, а запретные горы так и остались необитаемыми – скорее волею случая, нежели по умыслу. И за исключением нечастых вспышек панических страхов в тех местах, лишь суеверные старухи да девяностолетние деды, вспоминая свою юность, судачили о тварях, обитающих в дальних горах; но даже пересказывая шепотом древние предания, рассказчики соглашались, что теперь нечего бояться тварей, ведь они давно смирились с присутствием ферм и поселков, коли люди раз и навсегда оставили их в покое, не посягая на выбранные ими для обитания места.

Все это мне давно было известно из книг и устных преданий, собранных мною в Нью-Гэмпшире; вот почему, когда после наводнения появились все эти нелепые слухи, я легко догадался, на какой благодатной почве они возникли. Мне стоило немалых усилий объяснить все это моим друзьям, и меня соответственно позабавило, когда некоторые особенно задиристые спорщики продолжали настаивать, будто во всех этих нелепых сообщениях содержится изрядная доля истины. Эти упрямыцы указывали на то, что все древние предания объединяет сходство общей канвы событий и деталей и что было бы крайне глупо безапелляционно судить о таинственных обитателях малоизученной вермонтской глухомани. Их сомнения не могли развеять даже мои заверения, что все мифы повторяют хорошо известную, общую для всего человечества сюжетную структуру и что они возникли на ранних стадиях творческой деятельности человека и отражают одинаковые заблуждения.

Было бесполезно доказывать таким оппонентам, что в сущности вермонтские мифы мало чем отличаются от универсальных легенд о персонификации природных явлений, благодаря которым Древний мир населяли фавны, дриады и сатиры, а уже в современной Греции возникли легенды о калликанзарах, а в древнем Уэльсе и Ирландии – предания о троглодитах и землероях, жутких существах, обитающих глубоко под землей. И было бесполезно ссылаться на удивительно схожую веру народов горного Непала в ужасного Ми-го или «мерзких снежных людей», что бродят по ледникам Гималайских хребтов. Когда я сослался на эти факты, мои оппоненты обратили их против меня, увидев в них намек на историческую достоверность старинных преданий и лишний аргумент в пользу реального существования диковинной расы древних обитателей Земли, вынужденных прятаться от господствующего на планете *homo sapiens* и, с большой долей вероятности, кое-где доживших до относительно недавних времен – а то и существующих по сей день.

И чем больше я поднимал на смех теории моих друзей, тем с большим упорством они настаивали на их истинности, добавляя, что даже без влияния древних мифов недавние сообщения слишком недвусмысленны, подробны и объективны, чтобы от них можно было просто отмахнуться. Два-три самых отъявленных фанатика сослались на древние индейские сказания, в которых говорилось о внеземном происхождении таинственных тварей, и цитировали экстравагантные писания Чарльза Форта, уверявшего, будто посланцы иных миров из глубин космоса частенько посещали нашу Землю в прошлом. Большинство же моих противников, однако, были всего лишь романтиками, упрямо пытавшимися пересадить на реальную почву фантастические вымыслы о таинственном «малом народце», которые популяризировал блистательный мастер литературы ужасов Артур Мейчен.

## II

Естественным образом так получилось, что наши острые дебаты в конце концов были опубликованы в форме писем, направленных в редакцию «Аркхем эдвертайзер»; кое-какие из них были затем перепечатаны в газетах тех районов Вермонта, где и возникли фантастические рассказы в связи с недавним наводнением. «Ратлэнд геральд» посвятила половину полосы выдержкам из писем с обеих сторон, в то время как «Братлборо реформер» полностью перепечатало мой обширный историко-мифологический обзор, пронизательно снабдив публикацию глубокомысленным комментарием своего обозревателя, пишущего под псевдонимом Пендрифтер, который целиком и полностью поддержал и одобрил мои скептические выводы. К весне 1928 года я стал в Вермонте чуть ли не местной знаменитостью, притом что никогда не посещал этот штат. Вот тогда-то я и начал получать от Генри Эйкли письма с опровержениями моих взглядов, которые произвели на меня глубокое впечатление и вынудили в первый – и последний – раз в жизни посетить этот удивительный край безмолвных зеленых гор и говорливых лесных ручьев.

Многое из моих сведений о Генри Уэнтворте Эйкли было почерпнуто из переписки с его соседями и его единственным сыном, проживающим в Калифорнии, уже после моего посещения его уединенной фермы. Он был, как я выяснил, последним представителем старинного и уважаемого во всей округе семейства юристов, администраторов и землевладельцев. Однако именно на нем древний род резко уклонился от практических занятий в сторону чистой науки, и он многие годы посвятил изучению математики, астрономии, биологии, антропологии и фольклора в Вермонтском университете. До той поры я никогда не слышал его имени, и он не слишком щедро делился автобиографическими подробностями в письмах, но из них мне сразу стало ясно, что это человек большого ума и эрудиции, с сильным характером, давно уже живущий затворником и посему мало искушенный в обычных житейских делах.

Несмотря на всю фантастичность высказанных Эйкли идей, я с самого начала отнесся к нему куда более серьезно, чем к кому-либо из иных своих оппонентов. Во-первых, он, похоже, и впрямь сталкивался с конкретными явлениями – зримыми и осязаемыми, – о которых он высказывался в столь фантастической манере; а во-вторых, его отличало подкупающее стремление облекать свои умозаключения в форму предположений и гипотез, как и подобает истинному ученому мужу. Он не старался убедить меня в чем-либо и в своих выводах основывался исключительно на том, что считал неопровержимым свидетельством. Разумеется, первым моим побуждением было объявить его гипотезы ошибочными, но при всем том я не мог не отдать должное его уму и эрудиции. И я никогда не был склонен, в отличие от его знакомых, объяснять взгляды Эйкли, равно как и его безотчетный страх перед безлюдными лесистыми горами вокруг его фермы, безумием. Я убедился, сколь неординарной личностью был этот человек, и понимал, что излагаемые им факты, безусловно, порождены весьма странными и требующими изучения обстоятельствами, – пусть даже они и не вызваны теми фантастическими причинами, на которые он ссыался. Позднее я получил от него и вещественные доказательства, в свете которых все изложенное им сразу предстало в ином, пугающе-странном виде.

Я не могу придумать ничего лучше, нежели полностью пересказать, насколько это возможно, длинное письмо, в котором Эйкли поведал кое-что о своей жизни и которое сыграло поворотную роль в моей интеллектуальной биографии. Я более не располагаю этим письмом, но в моей памяти запечатлелось буквально каждое слово; и я вновь хочу подтвердить, что не сомневаюсь в душевном здоровье его автора. Вот это письмо – дошедший до меня текст, замечу, был написан несколько старомодными затейливыми каракулями, что вполне соответствовало образу ученого отшельника, почти не поддерживающего связей с внешним миром.

п/я № 2

д. Тауниенд, округ Уиндхэм, Вермонт.

5 мая 1928 года

Альберту Н. Уилмарту, эск.,

Солтонстолл-ст., 118,

Аркхэм, Масс.

Уважаемый сэр,

я с большим интересом прочитал в «Братлборо реформер» (от 23 апреля 1928 г.) перепечатку Вашего письма касательно недавних сообщений о странных телах, замеченных в наших реках во время наводнения прошлой осенью, и о любопытных народных преданиях, с которыми они столь детально совпадают. Легко понять, почему у чужака возникла высказанная Вами точка зрения и по какой причине м-р Пендрифтер с Вами согласился. Подобной позиции обыкновенно придерживаются образованные люди как в самом Вермонте, так и за его границами, таковым была и моя собственная позиция в юности (сейчас мне 57 лет), задолго до того, как научные изыскания общего характера и изучение книги Давенпорта заставили меня обратиться к исследованию некоторых здешних гор, куда никто не осмеливается заходить.

На эти исследования меня натолкнули странные древние сказания, которые я слышал от престарелых фермеров, не отличавшихся ученостью, но теперь я убежден, что было бы лучше, если бы я не брался за эти изыскания вовсе. Должен сказать, со всем должным смиренным, что антропология и фольклор не чужды моим интересам. Я много занимался этими предметами в колледже и хорошо знаком с трудами признанных корифеев в данной области – таких, как Тайлор, Лаббок, Фрэзер, Катрфаж, Мюррей, Осборн, Кит, Буль, Дж. Элиот Смит и т. д. Мне отнюдь не в новинку, что предания о скрывающихся расах стары как человечество. Я читал перепечатки Ваших писем, а также и тех, кто с Вами согласен, в «Ратлэнд геральд», и, пожалуй, понимаю, в чем суть Вашего диспута.

Пока же я спешу заявить, что Ваши противники, боюсь, скорее более правы, нежели Вы, хотя, как представляется, здравый смысл на Вашей стороне. Они даже более правы, нежели сами это осознают, – ибо, разумеется, они руководствуются лишь теорией и не могут знать того, что известно мне. Если бы мои познания в данном предмете были столь же ничтожны, я ни за что не поддержал бы их точку зрения. И был бы целиком на Вашей стороне.

Как видите, мне весьма непросто перейти к предмету моего письма, вероятно, потому, что меня страшит этот предмет, но дело в том, что я располагаю определенными свидетельствами о жутких лесных тварях, обитающих в горах, где никто не осмеливается ходить. Сам я не видел останки тварей, замеченных после наводнения, как о том писали в газетах, но я лично встречал подобных тварей при обстоятельствах, говорить о коих мне просто страшно. Я видел их следы, которые в последнее время стали появляться в непосредственной близости от моего дома (я живу на старой ферме Эйкли, южнее деревни Тауниенд, на склоне Темной горы). Несколько раз в лесу я слышал голоса, которые не осмелился бы даже вкратце описать.

В одном месте я слышал их настолько долго, что даже записал их с помощью фонографа и диктофона на восковый валик – постараюсь прислать Вам сделанную мной запись. Я воспроизвел эту запись на аппарате и дал ее послушать нашим старикам, и их буквально парализовал страх, когда они услышали один из голосов, очень похожий на тот, о котором в детстве им рассказывали бабушки и даже пытались имитировать (о таком же жужжащем голосе в лесу упоминает Давенпорт). Я знаю, как большинство обывателей относится к человеку, который будто бы «слышал голоса», – но прежде чем сделать свой вывод, просто прослушайте мою запись и поинтересуйтесь у кого-нибудь из сельских стариков, что они об

этом думают. Если Вы сможете найти этому нормальное объяснение, очень хорошо; но за этим стоит нечто неведомое. Ибо, как Вы сами знаете: *Ex nihilo nihil fit*<sup>1</sup>.

Итак, цель моего письма не в том, чтобы затеять с Вами спор, но предоставить Вам информацию, которую, я полагаю, человек Вашего склада сочтет весьма и весьма интересной. Но это в приватном порядке. Публично же я на Вашей стороне, ибо, как свидетельствует ряд вещей, людям нет нужды знать слишком много об этом деле. Мои собственные исследования носят сугубо частный характер, и я бы не стал делать какие-либо заявления, могущие привлечь внимание широкой публики и побудить людей к посещению обследованных мною мест. Но правда – ужасная правда – в том, что за нами постоянно наблюдают существа внеземного происхождения, чьи шпионы из числа людей собирают о нас сведения. От одного несчастного человека, который являлся таким шпионом (так он сам утверждал, и я не вижу причин ему не верить), я почерпнул большую часть разгадки этой тайны. Потом он покончил с собой, но у меня есть основания полагать, что, помимо него, есть еще и другие.

Эти твари прибыли с другой планеты, они способны жить в межзвездном пространстве и перемещаться в эфире с помощью неуклюжих, но весьма мощных крыльев; ими довольно трудно управлять, вот почему эти крылья практически бесполезны для полетов в земной атмосфере. Я останавлиюсь на этом подробнее чуть позже, если Вы не сочтете меня безумцем, недостойным Вашего внимания. Они прилетают к нам ради добычи металлов в глубоких горных шахтах, и, мне кажется, я знаю, откуда они родом. Они не причинят нам вреда, если мы оставим их в покое, но никто не может предсказать, что произойдет, если мы будем проявлять слишком большое любопытство. Разумеется, армия вооруженных людей могла бы стереть с лица земли их горную колонию. Вот этого они и опасаются. Но если так случится, из космоса сюда прилетят их бесчисленные полчища. Они с легкостью смогут завоевать Землю и до сих пор не пытались этого сделать только потому, что это им не нужно. Они скорее оставят все как есть – лишь бы не предпринимать лишних усилий.

---

<sup>1</sup> Из ничего не возникает ничто (лат.).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.